

Лев Толстой
В чем моя вера?
(1884 г.)

Предисловие к электронному изданию

Настоящее издание представляет собой электронную версию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Толстого, вышедшего в свет в 1928—1958 гг. Это уникальное академическое издание, самое полное собрание наследия Л. Н. Толстого, давно стало библиографической редкостью. В 2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудничестве с Российской государственной библиотекой и при поддержке фонда Э. Меллона и *координации* Британского совета осуществили сканирование всех 90 томов издания. Однако для того чтобы пользоваться всеми преимуществами электронной версии (чтение на современных устройствах, возможность работы с текстом), предстояло еще распознать более 46 000 страниц. Для этого Государственный музей Л. Н. Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с партнером – компанией АBBYY, открыли проект «Весь Толстой в один клик». На сайте readingtolstoy.ru к проекту присоединились более трех тысяч волонтеров, которые с помощью программы АBBYY FineReader распознавали текст и исправляли ошибки. Буквально за десять дней прошел первый этап сверки, еще за два месяца – второй. После третьего этапа корректуры *тома и отдельные произведения* публикуются в электронном виде на сайте tolstoy.ru.

В издании сохраняется орфография и пунктуация печатной версии 90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого.

*Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»
Фекла Толстая*

Перепечатка разрешается безвозмездно.



Л. Н. ТОЛСТОЙ. 1881 г.
Фото Дьяковченко

В ЧЕМ МОЯ ВЕРА?

Я прожил на свете 55 лет и, за исключением 14 или 15 детских, 35 лет я прожил нигилистом в настоящем значении этого слова, то есть не социалистом и революционером, как обыкновенно понимают это слово, а нигилистом в смысле отсутствия всякой веры.

Пять лет тому назад я поверил в учение Христа — и жизнь моя вдруг переменялась: мне перестало хотеться того, чего прежде хотелось, и стало хотеться того, чего прежде не

хотелось. То, что прежде казалось мне хорошо, показалось дурно, и то, что прежде казалось дурно, показалось хорошо. Со мной случилось то, что случается с человеком, который вышел за делом и вдруг дорогой решил, что дело это ему совсем не нужно,— и повернул домой. И всё, что было справа, — стало слева, и всё, что было слева, — стало справа: прежнее желание — быть как можно дальше от дома — переменялось на желание быть как можно ближе от него. Направление моей жизни — желания мои стали другие: и доброе и злое переменялось местами. Всё это произошло оттого, что я понял учение Христа не так, как я понимал его прежде.

Я не толковать хочу учение Христа, я хочу только рассказать, как я понял то, что есть самого простого, ясного, понятного и несомненного, обращенного ко всем людям в учении Христа, и как то, что я понял, перевернуло мою душу и дало мне спокойствие и счастье.

Я не толковать хочу учение Христа, а только одного хотел бы: запретить толковать его.

Все христианские церкви всегда признавали, что все люди, неравные по своей учености и уму, — умные и глупые, — равны перед богом, что всем доступна божеская истина. Христос сказал даже, что воля бога в том, что немудрым открывается то, что скрыто от мудрых.

Не все могут быть посвящены в глубочайшие тайны догматики, гомилетики, патристики, литургики, герменевтики, апологетики и др., но все могут и должны понять то, что Христос говорил всем миллионам простых, немудрых, живших и живущих людей. Так вот то самое, что Христос сказал всем этим простым людям, не имевшим еще возможности обращаться за разъяснениями его учения к Павлу, Клименту, Златоусту и другим, это самое я не понимал прежде, а теперь понял; и это самое хочу сказать всем.

Разбойник на кресте поверил в Христа и спасся. Неужели было бы дурно и для кого-нибудь вредно, если бы разбойник не умер на кресте, а сошел бы с него и рассказал людям, как он поверил в Христа.

Я так же, как разбойник на кресте, поверил учению Христа и спасся. И это не далекое сравнение, а самое близкое выражение того душевного состояния отчаяния и ужаса перед жизнью и смертью, в котором я находился прежде, и того состояния спокойствия и счастья, в котором я нахожусь теперь.

Я, как разбойник, знал, что жил и живу скверно, видел, что большинство людей вокруг меня живет так же. Я так же, как разбойник, знал, что я несчастлив и страдаю и что вокруг меня люди также несчастливы и страдают, и не видал никакого выхода, кроме смерти, из этого положения. Я так же, как разбойник к кресту, был пригвожден какой-то силой к этой жизни страданий и зла. И как разбойника ожидал страшный мрак смерти после бессмысленных страданий и зла жизни, так и меня ожидало то же.

Во всем этом я был совершенно подобен разбойнику, но различие мое от разбойника было в том, что он умирал уже, а я еще жил. Разбойник мог поверить тому, что спасение его будет там, за гробом, а я не мог поверить этому, потому что кроме жизни за гробом мне предстояла еще и жизнь здесь. А я не понимал этой жизни. Она мне казалась ужасна. И вдруг я услышал слова Христа, понял их, и жизнь и смерть перестали мне казаться злом, и, вместо отчаяния, я испытал радость и счастье жизни, не нарушимые смертью.

Неужели для кого-нибудь может быть вредно, если я расскажу, как это сделалось со мной?

I

О том, почему я прежде не понимал учения Христа и как и почему я понял его, я написал два большие сочинения: Критику догматического богословия и новый перевод и соединение четырех Евангелий с объяснениями. В сочинениях этих я методически, шаг за шагом стараюсь разобрать всё то, что скрывает от людей истину, и стих за стихом вновь перевожу, сличаю и соединяю четыре Евангелия.

Работа эта продолжается уже шестой год. Каждый год, каждый месяц я нахожу новые и

новые уяснения и подтверждения основной мысли, исправляю вкравшиеся в мою работу, от поспешности и увлечения, ошибки, исправляю их и дополняю то, что сделано. Жизнь моя, которой остается уже немного, вероятно, кончится раньше этой работы. Но я уверен, что работа эта нужна, и потому делаю, пока жив, что могу.

Такова моя продолжительная внешняя работа над богословием, Евангелиями. Но внутренняя работа моя, та, про которую я хочу рассказать здесь, была не такая. Это не было методическое исследование богословия и текстов Евангелий, — это было мгновенное устранение всего того, что скрывало смысл учения, и мгновенное озарение светом истины. Это было событие, подобное тому, которое случилось бы с человеком, тщетно отыскивающим по ложному рисунку значение кучи мелких перемешанных кусков мрамора, когда бы вдруг по одному наибольшему куску он догадался, что это совсем другая статуя; и, начав восстанавливать новую, вместо прежней бессвязности кусков, на каждом обломке, всеми изгибами излома сходящимися с другими и составляющими одно целое, увидел бы подтверждение своей мысли. Это самое случилось со мной. И вот это-то я хочу рассказать.

Я хочу рассказать, как я нашел тот ключ к пониманию учения Христа, который мне открыл истину с ясностью и убедительностью, исключаящими сомнение.

Открытие это сделано было мною так: С тех первых пор детства почти, когда я стал для себя читать Евангелие, во всем Евангелии трогало и умиляло меня больше всего то учение Христа, в котором проповедуется любовь, смирение, унижение, самоотвержение и возмездие добром за зло. Такова и оставалась для меня всегда сущность христианства, то, что я сердцем любил в нем, то, во имя чего я после отчаяния, неверия признал истинным тот смысл, который придает жизни христианский трудовой народ, и во имя чего я подчинил себя тем же верованиям, которые исповедует этот народ, т. е. православной церкви. Но, подчинив себя церкви, я скоро заметил, что я не найду в учении церкви подтверждения, уяснения тех начал христианства, которые казались для меня главными; я заметил, что эта дорогая мне сущность христианства не составляет главного в учении церкви. Я заметил, что то, что представлялось мне важнейшим в учении Христа, не признается церковью самым важным. Самым важным церковью признается другое. Сначала я не приписывал значения этой особенности церковного учения. «Ну что ж, — думал я, — церковь, кроме того же смысла любви, смирения и самоотвержения, признает еще и этот смысл догматический и внешний. Смысл этот чужд мне, даже отталкивает меня, но вредного тут нет ничего».

Но чем дальше я продолжал жить, покаяясь учению церкви, тем заметнее становилось мне, что эта особенность учения церкви не так безразлична, как она мне показалась сначала. Оттолкнули меня от церкви и странности догматов церкви, и признание и одобрение церковью гонений, казней и войн, и взаимное отрицание друг друга разными исповеданиями; но подорвало мое доверие к ней именно это равнодушие к тому, что мне казалось сущностью учения Христа, и, напротив, пристрастие к тому, что я считал несущественным. Мне чувствовалось, что тут что-то не так. Но что было не так, я никак не мог найти; не мог найти потому, что учение церкви не только не отрицало того, что казалось мне главным в учении Христа, но вполне признавало это, но признавало как-то так, что это главное в учении Христа становилось не на первое место. Я не мог упрекнуть церковь в том, что она отрицала существенное, но признавала церковь это существенное так, что оно не удовлетворяло меня. Церковь не давала мне того, чего я ожидал от нее.

Я перешел от нигилизма к церкви только потому, что сознал невозможность жизни без веры, без знания того, что хорошо и дурно помимо моих животных инстинктов. Знание это я думал найти в христианстве. Но христианство, как оно представлялось мне тогда, было только известное настроение — очень неопределенное, из которого не вытекали ясные и обязательные правила жизни. И за этими правилами я обратился к церкви. Но церковь давала мне такие правила, которые несколько не приближали меня к дорогому мне христианскому настроению и, скорее, удаляли от него. И я не мог идти за нею. Мне была нужна и дорога жизнь, основанная на христианских истинах; а церковь мне давала правила жизни, вовсе чуждые дорогим мне истинам. Правила, даваемые церковью о вере в догматы, о соблюдении

таинств, постов, молитв, мне были не нужны; а правил, основанных на христианских истинах, не было. Мало того, церковные правила ослабляли, иногда прямо уничтожали то христианское настроение, которое одно давало смысл моей жизни. Смущало меня больше всего то, что всё зло людское — осуждение частных людей, осуждение целых народов, осуждение других вер и вытекавшие из таких осуждений: казни, войны, всё это оправдывалось церковью. Учение Христа о смирении, неосуждении, прощении обид, о самоотвержении и любви на словах возвеличивалось церковью, и вместе с тем одобрялось на деле то, что было несовместимо с этим учением.

Неужели учение Христа было таково, что противоречия эти должны были существовать? Я не мог поверить этому. Кроме того, мне всегда казалось удивительным то, что, насколько я знал Евангелия, те места, на которых основывались определенные правила церкви о догматах — были места самые неясные; те же места, из которых вытекало исполнение учения, были самые определенные и ясные. А между тем догматы и вытекающие из них обязанности христианина определялись самым ясным, отчетливым образом; об исполнении же учения говорилось в самых неясных, туманных, мистических выражениях. Неужели этого хотел Христос, преподавая свое учение? Разрешение моих сомнений я мог найти только в Евангелиях. И я читал и перечитывал их. Из всех Евангелий, как что-то особенное, всегда выделялась для меня нагорная проповедь. И ее-то я читал чаще всего. Нигде, кроме как в этом месте, Христос не говорит с такою торжественностью, нигде он не дает так много нравственных, ясных, понятных, прямо отзывающихся в сердце каждого правил, нигде он не говорит к большей толпе всяких простых людей. Если были ясные, определенные христианские правила, то они должны быть выражены тут. В этих трех главах Матфея я искал разъяснения моих недоумений.

Много и много раз я перечитывал нагорную проповедь и всякий раз испытывал одно и то же: восторг и умиление при чтении тех стихов о подставлении щеки, отдаче рубахи, примирении со всеми, любви к врагам — и то же чувство неудовлетворенности. Слова бога, обращенные ко всем, были неясны. Поставлено было слишком невозможное отречение от всего, уничтожавшее самую жизнь, как я понимал ее, и потому отречение от всего, казалось мне, не могло быть непременно условием спасения. А как скоро это не было непременно условием спасения, то не было ничего определенного и ясного. Я читал не одну нагорную проповедь, я читал все Евангелия, все богословские комментарии на них. Богословские объяснения о том, что изречения нагорной проповеди суть указания того совершенства, к которому должен стремиться человек, но что падший человек — весь в грехе и своими силами не может достигнуть этого совершенства, что спасенье человека в вере, молитве и благодати, — объяснения эти не удовлетворяли меня.

Я не соглашался с этим, потому что мне всегда казалось странным, для чего Христос, вперед зная, что исполнение его учения невозможно одними силами человека, дал такие ясные и прекрасные правила, относящиеся прямо к каждому отдельному человеку? Читая эти правила, мне всегда казалось, что они относятся прямо ко мне, от меня одного требуют исполнения.

Читая эти правила, на меня находила всегда радостная уверенность, что я могу сейчас, с этого часа, сделать всё это. И я хотел и пытался делать это; но как только я испытывал борьбу при исполнении, я невольно вспоминал учение церкви о том, что человек слаб и не может сам сделать этого, и ослабевал.

Мне говорили: надо верить и молиться.

Но я чувствовал, что я мало верю и потому не могу молиться. Мне говорили, что надо молиться, чтобы бог дал веру, ту веру, которая дает ту молитву, которая дает ту веру, которая дает ту молитву и т. д., до бесконечности.

Но и разум и опыт показывали мне, что средство это недействительно. Мне всё казалось, что действительны могут быть только мои усилия исполнять учение Христа.

И вот, после многих, многих тщетных исканий, изучений того, что было писано об этом в доказательство божественности этого учения и в доказательство небожественности его,

после многих сомнений и страданий, я остался опять один с своим сердцем и с таинственной книгою пред собой. Я не мог дать ей того смысла, который давали другие, и не мог придать иного, и не мог отказаться от нее. И только изверившись одинаково и во все толкования ученой критики, и во все толкования ученого богословия, и откинув их все, по слову Христа: если не примете меня, как дети, не войдете в царствие божие..., я понял вдруг то, чего не понимал прежде. Я понял не тем, что я как-нибудь искусно, глубокомысленно переставлял, сличал, перетолковывал; напротив, всё открылось мне тем, что я забыл все толкования. Место, которое было для меня ключом всего, было место из V главы Матфея, стих 39-й: «Вам сказано: око за око, зуб за зуб. А я вам говорю: не противьтесь злу»... Я вдруг в первый раз понял этот стих прямо и просто. Я понял, что Христос говорит то самое, что говорит. И тотчас не то что появилось что-нибудь новое, а отпало всё, что затемняло истину, и истина восстала предо мной во всем ее значении. «Вы слышали, что сказано древним: око за око, зуб за зуб. А я вам говорю: не противьтесь злу». Слова эти вдруг показались мне совершенно новыми, как будто я никогда не читал их прежде.

Прежде, читая это место, я всегда по какому-то странному затмению пропускал слова: *а я говорю : не противься злу*. Точно как будто слов этих совсем не было, или они не имели никакого определенного значения.

Впоследствии при беседах моих со многими и многими христианами, знавшими Евангелие, мне часто случалось замечать относительно этих слов то же затмение. Слов этих никто не помнил, и часто, при разговорах об этом месте, христиане брали Евангелие, чтобы проверить, — есть ли там эти слова. Также и я пропускал эти слова и начинал понимать только со следующих слов: «И кто ударит тебя в правую щеку... подставь левую...» и т. д. И всегда слова эти представлялись мне требованием страданий, лишений, не свойственных человеческой природе. Слова эти умиляли меня. Мне чувствовалось, что было бы прекрасно исполнить их. Но мне чувствовалось тоже и то, что я никогда не буду в силах исполнить их только для того, чтобы исполнить, чтобы страдать. Я говорил себе: ну, хорошо, я подставлю щеку, — меня другой раз прибьют; я отдам, — у меня отнимут всё. У меня не будет жизни. А мне дана жизнь, зачем же я лишусь ее? Этого не может требовать Христос. Прежде я говорил это себе, предполагая, что Христос этими словами восхваляет страдания и лишения и, восхваляя их, говорит преувеличенно и потому неточно и неясно; но теперь, когда я понял слова о непротивлении злу, мне ясно стало, что Христос ничего не преувеличивает и не требует никаких страданий для страданий, а только очень определенно и ясно говорит то, что говорит. Он говорит: «не противьтесь злу; и, делая так, вперед знайте, что могут найтись люди, которые, ударив вас по одной щеке и не встретив отпора, ударят и по другой; отняв рубаху, отнимут и кафтан; воспользовавшись вашей работой, заставят еще работать; будут брать без отдачи... И вот если это так будет, то вы все-таки не противьтесь злу. Тем, которые будут вас бить и обижать, все-таки делайте добро». И когда я понял эти слова так, как они сказаны, так сейчас же всё, что было темно, стало ясно, и что казалось преувеличенно, стало вполне точно. Я понял в первый раз, что центр тяжести всей мысли в словах: «не противься злу», а что последующее есть только разъяснение первого положения. Я понял, что Христос нисколько не велит подставлять щеку и отдавать кафтан для того, чтобы страдать, а велит не противиться злу и говорит, что при этом придется, может быть, и страдать. Точно так же, как отец, отправляющий своего сына в далекое путешествие, не приказывает сыну — недосыпать ночей, недоедать, мокнуть и зябнуть, если он скажет ему: «ты иди дорогой, и если придется тебе и мокнуть и зябнуть, ты все-таки иди». Христос не говорит: подставляйте щеки, страдайте, а он говорит: не противьтесь злу, и, что бы с вами ни было, не противьтесь злу. Слова эти: *не противься злу или злему*, понятые в их прямом значении, были для меня истинно ключом, открывшим мне всё. И мне стало удивительно, как мог я так навыворот понимать ясные, определенные слова. Вам сказано: зуб за зуб, а я говорю: не противься злу или злему, и, что бы с тобой ни делали злые, терпи, отдавай, но не противься злу или злым. Что же может быть яснее, понятнее и несомненнее этого? И стоило мне понять эти слова просто и прямо, как они сказаны, и тотчас же во всем учении Христа, не только в нагорной

проповеди, но во всех Евангелиях, всё, что было запутано, стало понятно, что было противоречиво, стало согласно; и главное, что казалось излишне, стало необходимо. Всё слилось в одно целое и несомненно подтверждало одно другое, как куски разбитой статуи, составленные так, как они должны быть. В этой проповеди и во всех Евангелиях со всех сторон подтверждалось то же учение о непротивлении злу.

В этой проповеди, как и во всех местах, везде Христос представляет себе своих учеников, т. е. людей, исполняющих правило о непротивлении злу, не иначе, как подставляющих щеку и отдающих кафтан, как гонимых, побиваемых и нищих.

Везде много раз Христос говорит, что тот, кто не взял крест, кто не отрекся от всего, тот не может быть его учеником, т. е. кто не готов на все последствия, вытекающие из исполнения правила о непротивлении злу. Ученикам Христос говорит: будьте нищие, будьте готовы, не противясь злу, принять гонения, страдания и смерть. Сам готовится на страдания и смерть, не противясь злу, и отгоняет от себя Петра, жалеющего об этом, и сам умирает, запрещая противиться злу и не изменяя своему учению.

Все первые ученики его исполняют это правило непротивления злу и всю жизнь проводят в нищете, гонениях и никогда не воздают злом за зло.

Стало быть, Христос говорил то, что говорил. Можно утверждать, что всегдашнее исполнение этого правила очень трудно, можно не соглашаться с тем, что каждый человек будет блажен, исполняя это правило, можно сказать, что это глупо, как говорят неверующие, что Христос был мечтатель, идеалист, который высказывал неисполнимые правила, которым и следовали по глупости его ученики, но никак нельзя не признавать, что Христос сказал очень ясно и определенно то самое, что хотел сказать: именно, что человек, по его учению, должен не противиться злу и что потому тот, кто принял его учение, не может противиться злу. А между тем, ни верующие, ни неверующие не понимают такого простого, ясного значения слов Христа.

II

Когда я понял, что слова: не противься злу, значат: не противься злу, всё мое прежнее представление о смысле учения Христа вдруг изменилось, и я ужаснулся перед тем не то что непониманием, а каким-то странным пониманием учения, в котором я находился до сих пор. Я знал, мы все знаем, что смысл христианского учения — в любви к людям. Сказать: подставить щеку, любить врагов — это значит выразить сущность христианства. Я знал это с детства, но отчего же я не понимал этих простых слов просто, а искал в них какой-то иносказательный смысл? Не противься злему — значит не противься злему никогда, т. е. никогда не делай насилия, т. е. такого поступка, который всегда противоположен любви. И если тебя при этом обидают, то перенеси обиду и все-таки не делай насилия над другим. Он сказал так ясно и просто, как нельзя сказать яснее. Как же я, веруя или стараясь верить, что тот, кто сказал это — бог, говорил, что исполнить это своими силами невозможно. Хозяин скажет мне: поди наруби дров, а я скажу: я своими силами не могу исполнить этого. Говоря это, я говорю одно из двух: или то, что я не верю тому, что говорит хозяин, или то, что я не хочу делать того, что велит хозяин. Про заповедь бога, которую он дал нам для исполнения, про которую он сказал: кто исполнит и научит так, тот большим наречется и т. д., про которую он сказал, что только те, которые исполняют, те получают жизнь, заповедь, которую он сам исполнил и которую выразил так ясно, просто, что в смысле ее не может быть сомнения, про эту-то заповедь я, никогда не попытавшись даже исполнить ее, говорил: исполнение ее невозможно одними моими силами, а нужна сверхъестественная помощь.

Бог сошел на землю, чтобы дать спасение людям. Спасение состоит в том, что второе лицо троицы, бог-сын, пострадал за людей, искупил перед отцом грех их и дал людям церковь, в которой хранится благодать, передающаяся верующим; но, кроме всего этого, этот бог-сын дал людям и учение и пример жизни для спасения. Как же я говорил, что правило жизни, выраженное им просто и ясно для всех, так трудно исполнять, что даже невозможно

без сверхъестественной помощи? Он не только не сказал этого, он определенно сказал: непременно исполняйте, а кто не исполнит, тот не войдет в царство божие. И он никогда не говорил, что исполнение трудно, он, напротив, сказал: иго мое благо, и бремя мое легко. Иоанн, его евангелист, сказал: заповеди его не тяжки. Как же это я говорил, что то, что бог велел исполнять, то, исполнение чего он так точно определил, и сказал, что исполнять это легко, то, что он сам исполнил как человек и что исполняли первые последователи его; как же это я говорил, что исполнять это так трудно, что даже невозможно без сверхъестественной помощи? Если бы человек все усилия своего ума положил на то, чтобы уничтожить какой-нибудь данный закон, что действительно для уничтожения этого закона мог бы сказать этот человек, как не то, что закон этот по существу неисполним и что мысль самого законодателя о своем законе такова, что закон этот неисполним, а что для исполнения его нужна сверхъестественная помощь? А это самое я думал по отношению к заповеди о непротивлении злу. И я стал вспоминать, как и когда вошла мне в голову эта странная мысль о том, что закон Христа божественен, но исполнять его нельзя. И, разобрав свое прошлое, я понял, что мысль эта никогда не была передана мне во всей ее наготе (она бы оттолкнула меня), но что я, незаметно для себя, всосал ее с самого первого детства, и вся последующая жизнь моя только укрепляла во мне это странное заблуждение.

С детства меня учили тому, что Христос — бог и учение его божественно, но вместе с тем меня учили уважать те учреждения, которые насильем обеспечивают мою безопасность от злого, учили меня почитать эти учреждения священными. Меня учили противостоять злumu и внушали, что унижительно и постыдно покоряться злumu и терпеть от него, а похвально противиться ему. Меня учили судить и казнить. Потом меня учили воевать, т. е. убийством противодействовать злumu, и воинство, которого я был членом, называли христоробивым воинством; и деятельность эту освящали христианским благословением. Кроме того, с детства и до возмужалости меня учили уважать то, что прямо противоречит закону Христа. Дать отпор обидчику, отомстить насильем за оскорбление личное, семейное, народное; всё это не только не отрицали, но мне внушали, что всё это прекрасно и не противно закону Христа.

Всё меня окружающее: спокойствие, безопасность моя и семьи, моя собственность, всё построено было на законе, отвергнутом Христом, на законе: зуб за зуб.

Церковные учителя учили тому, что учение Христа божественно, но исполнение его невозможно по слабости людской, и только благодать Христа может содействовать его исполнению. Светские учителя и всё устройство жизни уже прямо признавали неисполнимость, мечтательность учения Христа, и речами и делами учили тому, что противно этому учению. Это признание неисполнимости учения бога до такой степени понемножку, незаметно всосалось в меня и стало привычно мне, и до такой степени оно совпадало с моими похотями, что я никогда не замечал прежде того противоречия, в котором я находился. Я не видал того, что невозможно в одно и то же время исповедывать Христа-бога, основа учения которого есть непротивление злumu, и сознательно и спокойно работать для учреждения собственности, судов, государства, воинства, учреждать жизнь, противную учению Христа, и молиться этому Христу о том, чтобы между нами исполнялся закон непротивления злumu и прощения. Мне не приходило еще в голову то, что теперь так ясно: что гораздо бы проще было устраивать и учреждать жизнь по закону Христа, а молиться уж о том, чтобы были суды, казни, войны, если они так нужны для нашего блага.

И я понял, откуда возникло мое заблуждение. Оно возникло из исповедания Христа на словах и отрицания его на деле.

Положение о непротивлении злumu есть положение, связующее всё учение в одно целое, но только тогда, когда оно не есть изречение, а есть правило, обязательное для исполнения, когда оно есть закон.

Оно есть точно ключ, отпирающий всё, но только тогда, когда ключ этот просунут до замка. Признание этого положения за изречение, невозможное к исполнению без сверхъестественной помощи, есть уничтожение всего учения. Каким же, как не

невозможным, может представляться людям то учение, из которого вынута основная, связующая всё положение? Неверующим же оно даже прямо представляется глупым и не может представиться иным.

Поставить машину, затопить паровик, пустить в ход, но не надеть передаточного ремня — это самое сделано с учением Христа, когда стали учить, что можно быть христианином, не исполняя положения о непротавлении злу.

Я недавно с еврейским раввином читал V главу Матфея. Почти при всяком изречении раввин говорил: это есть в Библии, это есть в Талмуде, и указывал мне в Библии и Талмуде весьма близкие изречения к изречениям нагорной проповеди. Но когда мы дошли до стиха о непротавлении злу, он не сказал: и это есть в Талмуде, а только спросил меня с усмешкой: — И христиане исполняют это? подставляют другую щеку? — Мне нечего было отвечать, тем более, что я знал, что в это самое время христиане не только не подставляли щеки, но били евреев по подставленной щеке. Но мне интересно было знать, есть ли что-нибудь подобное в Библии или Талмуде, и я спросил его об этом. Он сказал: — Нет, этого нет, но вы скажите, исполняют ли христиане этот закон? — Вопросом этим он говорил мне, что присутствие такого правила в христианском законе, которое не только никем не исполняется, но которое сами христиане признают неисполнимым, есть признание неразумности и ненужности этого правила. И я не мог ничего отвечать ему.

Теперь, поняв прямой смысл учения, я вижу ясно то странное противоречие с самим собой, в котором я находился. Признав Христа богом и учение его божественным и вместе с тем устроив свою жизнь противно этому учению, что же оставалось, как не признавать учение неисполнимым? На словах я признал учение Христа священным, на деле я исповедывал совсем не христианское учение и признавал и поклонялся учреждениям не христианским, со всех сторон обнимающим мою жизнь.

Весь Ветхий Завет говорит, что несчастья народа иудейского происходили оттого, что он верил в ложных богов, но не в истинного бога. Самуил в первой книге, в главах 8-й и 12-й, обвиняет народ в том, что ко всем прежним своим отступлениям от бога он прибавил еще новое: на место бога, который был их царем, поставил человека-царя, который, по их мнению, спасет их. Не верьте в «тогу», в пустое, говорит Самуил народу (XII, 21 стих). Оно не поможет вам и не спасет вас, потому что оно «тогу», пустое. Чтобы не погибнуть вам с царем вашим, держитесь одного бога.

Вот вера в эти «тогу», в эти пустые кумиры и заслоняла от меня истину. На дороге к ней, заграждая ее свет, стояли предо мной те «тогу», от которых я не в силах был отречься.

На днях я шел в Боровицкие ворота; в воротах сидел старик, нищий-калека, обвязанный по ушам ветошкой. Я вынул кошелек, чтобы дать ему что-нибудь. В это время с горы из Кремля выбежал бравый молодой румяный малый, гренадер в казенном тулупе. Нищий, увидав солдата, испуганно вскочил и в прихрамку побежал вниз к Александровскому саду. Гренадер погнался было за ним, но, не догнав, остановился и стал ругать нищего за то, что он не слушал запрещения и сажился в воротах. Я подождал гренадера в воротах. Когда он поровнялся со мной, я спросил его: знает ли он грамоте?

— Знаю, а что? — Евангелие читал? — Читал. — А читал: «и кто накормит голодного?..» — Я сказал ему это место. Он знал его и выслушал. И я видел, что он смущен. Два прохожие остановились, слушая. Гренадеру, видно, больно было чувствовать, что он, отлично исполняя свою обязанность, — гоняя народ оттуда, откуда велено гонять, — вдруг оказался неправ. Он был смущен и, видимо, искал отговорки. Вдруг в умных черных глазах его блеснул свет, он повернулся ко мне боком, как бы уходя. — А воинский устав читал? — спросил он. Я сказал, что не читал. — Так и не говори, — сказал гренадер, тряхнув победоносно головой, и, запахнув тулуп, молодецки пошел к своему месту.

Это был единственный человек во всей моей жизни, строго логически разрешивший тот вечный вопрос, который при нашем общественном строе стоял передо мной и стоит перед каждым человеком, называющим себя христианином.

III

Напрасно говорят, что учение христианское касается личного спасения, а не касается вопросов общих, государственных. Это только смелое и голословное утверждение самой очевидной неправды, которая разрушается при первой серьезной мысли об этом. Хорошо, я не буду противиться злу, подставлю щеку, как частный человек, говорю я себе, но идет неприятель или угнетают народы, и меня призывают участвовать в борьбе со злыми — идти убивать их. И мне неизбежно решить вопрос: в чем служение богу и в чем служение «тогу». Идти ли на войну, или не идти? Я — мужик, меня выбирают в старшины, судьи, в присяжные, заставляют присягать, судить, наказывать, — что мне делать? Опять я должен выбирать между законом бога и законом человеческим. Я — монах, живу в монастыре, мужики отняли наш покос, меня посылают участвовать в борьбе со злыми — просить в суде на мужиков. Опять я должен выбрать. Ни один человек не может уйти от решения этого вопроса. Я не говорю уже о нашем сословии, деятельность которого почти вся состоит в противлении злым: военные, судейские, администраторы, но нет того частного, самого скромного человека, которому бы не предстояло это решение между служением богу, исполнением его заповедей, или служением «тогу», государственным учреждениям. Личная моя жизнь переплетена с общей государственной, а государственная требует от меня нехристианской деятельности, прямо противной заповеди Христа. Теперь с общей воинской повинностью и участием всех в суде в качестве присяжных, дилемма эта с поразительной резкостью поставлена пред всеми. Всякий человек должен взять оружие убийства: ружье, нож, и если не убить, то зарядить ружье и отточить нож, т. е. быть готовым на убийство. Каждый гражданин должен прийти в суд и быть участником суда и наказаний, т. е. каждый должен отречься от заповеди Христа непротивления злему не словом только, но делом.

Вопрос гренадера: Евангелие или воинский устав? закон божий или закон человеческий? — теперь стоит и при Самуиле стоял перед человечеством. Он стоял и перед самим Христом и перед учениками его. Стоит и перед теми, которые теперь хотят быть христианами, стоял и передо мной.

Закон Христа, с его учением любви, смирения, самоотвержения, всегда и прежде трогал мое сердце и привлекал меня к себе. Но со всех сторон, в истории, в современной окружающей меня, и в моей жизни я видел закон противоположный, противный моему сердцу, моей совести, моему разуму, но потакающий моим животным инстинктам. Я чувствовал, что, прими я закон Христа, я останусь один, и мне может быть плохо, мне придется быть гонимым и плачущим, то самое, что сказал Христос. Прими закон человеческий — меня все одобряют, я буду спокоен, обеспечен, и к моим услугам все изощрения ума, чтобы успокоить мою совесть. Я буду смеяться и веселиться, то самое, что сказал Христос. Я чувствовал это и потому не только не углублялся в значение закона Христа, но старался понять его так, чтобы он не мешал мне жить моей животной жизнью. А понять его так нельзя было, и потому я вовсе не понимал его.

В этом непонимании я доходил до теперь удивительного мне затмения. Для образца такого затмения приведу мое прежнее понимание слов: «Не судите, и не будете судимы» (Матф. VII, 1). «Не судите, и не будете судимы — не осуждайте, и не будете осуждены» (Луки VI, 37). Мне так несомненно казалось священным, не нарушающим закона бога учреждение судов, в которых я участвовал и которые ограждали мою собственность и безопасность, что никогда и в голову не приходило, чтобы это изречение могло значить что-нибудь другое, как не то, чтобы на словах не осуждать ближнего. Мне и в голову не приходило, чтобы Христос в этих словах мог говорить про суды: про земский суд, про уголовную палату, про окружные и мировые суды и всякие сенаты и департаменты. Только когда я понял в прямом значении слова о непротивлении злу, только тогда мне представился вопрос о том, как относится Христос ко всем этим судам и департаментам. И поняв, что он должен отрицать их, я спросил себя: Да не значит ли это: не только не судите ближнего на словах, но и не осуждайте судом — не судите ближних своими человеческими

учреждениями — судами.

У Луки, гл. VI, с 37 по 49, слова эти сказаны тотчас после учения о непротивлении злу и о воздаянии добром за зло. Тотчас после слов: «будьте милосерды, как отец ваш на небе», сказано: «не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены». Не значит ли это, кроме осуждения ближнего, и то, чтобы не учреждать судов и не судить в них ближних? спросил я себя теперь. И стоило мне только поставить себе этот вопрос, чтобы и сердце и здравый смысл тотчас же ответили мне утвердительно.

Я знаю, как такое понимание этих слов поражает сначала. Меня оно тоже поразило. Чтобы показать, как я далек был от такого понимания, признаюсь в стыдной глупости. Уже после того, как я стал верующим и читал Евангелие как божественную книгу, я, при встрече с моими приятелями, прокурорами, судьями, в виде игривой шутки, говорил им: а вы всё судите, а сказано: не судите, и не судимы будете. Я так был уверен, что слова эти не могут значить ничего другого, как только запрещение злословия, что не понимал того страшного кощунства, которое я делал, говоря это. Я до того дошел, что, уверившись в том, что ясные слова эти значат не то, что значат, в шутку говорил их в их настоящем значении.

Расскажу подробно, как уничтожилось во мне всякое сомнение о том, что слова эти не могут быть понимаемы иначе, как в том смысле, что Христос запрещает всяческие человеческие учреждения судов, и словами этими ничего не мог сказать другого.

Первое, что поразило меня, когда я понял заповедь о непротивлении злу в ее прямом значении, было то, что суды человеческие не только не сходятся с нею, но прямо противны ей, противны и смыслу всего учения, и что поэтому Христос, если подумал о судах, то должен был отрицать их.

Христос говорит: *не противиться злему*. Цель судов — противиться злему. Христос предписывает: *делать добро за зло*. Суды воздают злом за зло. Христос говорит: *не разбирать добрых и злых*. Суды только то и делают, что этот разбор. Христос говорит: *прощать всем*. Прощать не раз, не семь раз, а без конца. Любить врагов. Делать добро ненавидящим. Суды не прощают, а наказывают, делают не добро, а зло тем, которых они называют врагами общества. Так что по смыслу выходило, что Христос должен был запрещать суды. Но, может быть, думал я, Христос не имел дела с человеческими судами и не думал о них. Но вижу, что этого нельзя предположить: Христос со дня рождения и до смерти сталкивался с судами Ирода, синедриона и первосвященников. И действительно, вижу, что Христос много раз прямо говорит про суды, как про зло. Ученикам он говорит, что их будут судить, и говорит, как им держаться на суде. Про себя говорил, что его засудят, и сам показывает, как надо относиться к суду человеческому. Стало быть, Христос думал о тех судах человеческих, которые должны были засудить его и его учеников, и засуждавшие и засуждающие миллионы людей. Христос видел это зло и прямо указывал на него. При исполнении приговора суда над блудницей он прямо отрицает суд и показывает, что человеку нельзя судить, потому что он сам виноватый. И эту же самую мысль он высказывает несколько раз, говоря, что засоренным глазом нельзя видеть сора в глазу другого, что слепой не может видеть слепого. Объясняет даже то, что происходит от такого заблуждения. Ученик станет такой же, как учитель.

Но, может быть, и высказав это по отношению к суду блудницы и указав притчей о спице на общую слабость человеческую, он все-таки не запрещает обращения к человеческому правосудию; в виду защиты от злых; но вижу, что этого никак нельзя допустить.

В нагорной проповеди, обращаясь ко всем, он говорит: и если кто хочет *высудить* у тебя рубаху, отдай и кафтан. Стало быть, он всем запрещает судиться.

Но, может быть, Христос говорит только о личном отношении каждого человека к судам, но не отрицает самого правосудия и допускает в христианском обществе людей, которые судят других в установленных учреждениях? Но вижу, что и этого нельзя предположить. Христос в молитве своей всем людям без исключения велит прощать другим, чтобы и им были прощены их вины. И повторяет эту мысль много раз. Стало быть, всякий

человек и на молитве и прежде чем принести дар должен всем простить. Как же может судить и приговаривать по суду человек, который, по исповедуемой им вере, должен всем всегда прощать? И потому вижу, что, по учению Христа, христианский наказывающий судья быть не может.

Но, может быть по той связи, в которой находятся с другими слова: *не судите и не осуждайте*, видно, что в этом месте Христос, говоря: *не судите*, не думал о судах человеческих? Но этого тоже нет, напротив, ясно по связи речи, что, говоря: не судите, Христос говорит именно о судах, учреждениях: по Матфею и Луке, перед тем, чтобы сказать: не судите и не осуждайте, он говорит: не противьтесь злему, терпите зло, делайте добро всем. А перед этими словами повторяет, по Матфею, слова уголовного еврейского закона: око за око, зуб за зуб. И после этой ссылки на уголовный закон говорит: а вы делайте не так, не противьтесь злему, и потом уже говорит: не судите. Стало быть, Христос говорит именно про уголовный закон человеческий и его-то и отрицает словами не судите.

Кроме того, по Луке, он говорит не только: не судите, но — не судите и не осуждайте. Для чего-нибудь да прибавлено же это слово, имеющее почти то же значение. Прибавка этого слова может иметь только одну цель: выяснение значения, в котором должно пониматься первое слово.

Если бы он хотел сказать: не осуждайте *ближнего*, то он прибавил бы это слово, но он прибавляет слово, переводимое по-русски — не осуждайте. И после этого говорит: и не будете осуждены, всем прощайте, и будете прощены.

Но, может быть, все-таки Христос не думал про суды, говоря это, и я свою мысль нахожу в его словах, имеющих другое значение.

Справляюсь с тем, как первые ученики Христа, апостолы, смотрели на суды человеческие, признавали ли, одобряли ли их?

В главе IV, от 1—11, апостол Иаков говорит: *Не злословьте друг друга, братия; кто злословит брата и судит брата своего, тот злословит закон и судит закон; а если закон судишь, то ты не исполнитель закона, а судья. — законодатель и судья, который может спасти и погубить, — а ты кто, который судишь другого?*

Слово, переданное словом злословить, есть слово *καταλάλῳ*. Без справки с лексиконом можно видеть, что слово это должно значить обвинять. И то самое оно и значит, в чем может убедиться всякий, справившись с лексиконом. Переведено: *кто злословит брата, тот злословит закон*. И невольно представляется вопрос: почему? Сколько бы я ни злословил брата, я не злословлю закон, но если я обвиняю и сужу судом брата, то очевидно, что я этим самым обвиняю закон Христа, т. е. я считаю закон Христа недостаточным и обвиняю и сужу закон. Тогда ясно, что я уже не исполняю его закон, а сам судья. Судья же, — говорит Христос, — тот, который может спасти. А как же я, не будучи в состоянии спасти, буду судьей, буду наказывать?

Всё место это говорит о суде человеческом и отрицает его. Всё послание это проникнуто тою же мыслью. В том же послании Иакова (гл. II, 1—13) говорится: 1) братия мои! вера в господу нашего Иисуса Христа прославленного да будет без лицепрятия. 2) Ибо если войдет в собрание ваше человек с золотым перстнем на руке, в богатой одежде, войдет же и нищий в худом платье; и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе прилично стать здесь; а нищему скажете: ты стань там, или садись здесь, при ногам моих; то не разрозниваетесь ли вы между собою и не представляете ли *в себе судей с злыми помышлениями*? 3) Послушайте, братия мои возлюбленные, не нищих ли мира сего бог избрал быть богатыми верою и наследниками царствия, которое обещал он любящим его? 4) А вы презрели нищего! Не богатые ли притесняют вас и *не они ли влекут вас в суды*? 5) Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? 6) Если вы исполняете царский закон по писанию, — возлюби ближнего твоего, как самого себя (Левит XIX, 18), — хорошо поступаете. 7) Но если смотрите на лица, то грех делаете и пред законом оказываетесь преступниками. 8) Ибо кто сохранит весь закон и в одном чем-нибудь согрешит, тот становится виновен во всем. 9) Ибо тот же, кто сказал: не прелюбодействуй, сказал: не убей.

Почему, если ты не сделаешь прелюбодеяния, но убьешь, то ты всё преступник закона (Второзаконие XXII, 22; Левит XVIII, 17—25). 10) Говорите и поступайте как люди, которые должны быть судимы по закону свободы. Ибо суд без помилования тому, кто 11) не делает милости: милость торжествует над судом. (Последние слова — милость торжествует над судом — переводились, и часто, так: *милость превозносится на суде*, и переводились так в том смысле, что суд христианский может быть, но что он должен быть милостив.)

Иаков увещивает братьев не делать различия между людьми. Если вы делаете различие, то вы διακρίνατε, разрозниваетесь, как на суде судьи с злыми помышлениями. Вы рассудили, что нищий — хуже. А напротив, хуже — богатый. Он и угнетает вас и тащит в суд. Если вы живете по закону любви к ближнему, по закону милосердия (который, в отличие от другого, Иаков называет царским), то это хорошо. Но если смотрите на лица, делаете различие между людьми, то делаетесь преступниками закона милосердия. И, имея, вероятно, в виду пример блудницы, которую привели к Христу, чтобы по закону побить ее камнями, или вообще преступление прелюбодеяния, Иаков говорит, что тот, кто казнит смертью блудницу, будет виновен в убийстве и нарушит закон вечный. Потому что тот же вечный закон запрещает и блуд, и убийство. Он говорит: *И поступайте, как люди, судимые законом свободы*. Потому что нет милости тому, кто сам без милости, *а потому милость уничтожает суд*.

Как же еще сказать это яснее, определеннее: запрещается всякое различие между людьми, всякий суд о том, что этот хорош, а этот дурен, указывается прямо на суд человеческий, который несомненно дурен, и показывается, что суд этот сам преступен, казня за преступления, и что потому суд сам собою уничтожается законом бога — милосердием.

Читаю послания апостола Павла, пострадавшего от судов, и в первой же главе к римлянам читаю увещание, которое делает апостол римлянам за все их пороки и заблуждения, и в том числе за их суды (32): «Они хотя и знают праведный суд божий (т. е. что делающие таковые дела достойны смерти), однако не только сами их делают, но и делающих одобряют».

Глава II, 1) *Итак, неизвинителен ты, человек, кто бы ты ни был, судящий другого; ибо тем же (судом), которым судишь другого, осуждаешь себя; потому что, судя другого, ты делаешь то же.* 2) А мы знаем, что праведен суд божий на делающих таковые дела. 3) Неужели думаешь ты, человек, избежать суда божия, осуждая делающих таковые дела и (сам) делая то же? 4) Или ты пренебрегаешь богатством благодати его и кротости и долготерпения, не помышляя, что благодать божия ведет тебя к покаянию?

Апостол Павел говорит: они, зная справедливый суд бога, сами делают несправедливо и научают так делать других, и потому нельзя оправдать человека, который судит.

Такое отношение к судам я нахожу в посланиях апостолов, в жизни же их, как мы все знаем, суды человеческие представлялись им тем злом и соблазном, которые надо сносить с твердостью и преданностью воле божией.

Восстановив в своем воображении положение первых христиан среди язычников, каждый легко поймет, что запрещать суды гонимым человеческими судами христианам не могло приходить в голову. Только при случае они могли коснуться этого зла, отрицая основы его, как они делают это.

Справляюсь с учителями церкви первых веков и вижу, что учителя первых веков все всегда определяли свое учение, отличающее их от всех других, тем, что они никого ни к чему не принуждают, никого не судят (Афинагор, Ориген), не казнят, а только переносят мучения, налагаемые на них судами человеческими. Все мученики делом исповедывали то же. Вижу, что всё христианство до Константина никогда иначе не смотрело на суды, как на зло, которое надо терпеливо переносить, но что никогда и в голову ни одному христианину того времени не могло прийти той мысли, чтобы христианин мог участвовать в суде.

Вижу, что слова Христа: *не судите и не осуждайте*, были поняты его первыми учениками так же, как я их понял теперь, в их прямом смысле: не судите в судах — не участвуйте в них.

Всё несомненно подтверждало мое убеждение, что слова — не судите и не осуждайте — значат не судите в судах; но толкование о том, что будто это значит: не злословьте ближнего, до такой степени общепринято и до такой степени смело и самоуверенно суды процветают во всех христианских государствах, опираясь даже на церковь, что я долго сомневался в справедливости моего понимания. Если все люди могли толковать так и учреждать христианские суды, то, вероятно, имели же они какое-нибудь основание, и что-нибудь ты не понимаешь, — говорил я себе. — Должны же быть те основания, по которым слова эти понимаются как злословие и должны же быть основания, на которых учреждаются христианские суды.

И я обратился к толкованиям церкви. Во всех этих толкованиях, с пятого века, я нашел, что слова эти принято понимать как осуждение на словах ближнего, т. е. как злословие.

И так как слова эти принято понимать только как осуждение на словах ближнего, то является затруднение: как не осуждать? Зло нельзя не осуждать. И потому все толкования вертятся на том, что можно и что нельзя осуждать. Говорится о том, что для служителей церкви это нельзя понимать как запрещение судить, что сами апостолы судили (Златоуст и Феофилакт). Говорится о том, что, вероятно, этим словом Христос указывает на иудеев, которые обвиняли ближних в малых грехах, а сами делали большие.

Но нигде ни слова не говорится о человеческих учреждениях, судах, о том, в каком отношении находятся суды эти к этому запрещению осуждать. Запрещает ли их Христос, или допускает? На этот естественный вопрос нет никакого ответа, как будто уже слишком очевидно то, что как скоро христианин сел на судейское место, то тогда он не только может осуждать ближнего, но и казнить его.

Справляюсь у греческих, католических, протестантских писателей и писателей тюбингенской школы и школы исторической. Всеми, даже самыми свободномыслящими толкователями слова эти понимаются как запрещение злословить. Но почему слова эти, противно всему учению Христа, понимаются так узко, что в запрещении судить не входит запрещение судов, почему предполагается, что Христос, запрещая осуждение ближнего, невольно сорвавшееся с языка, как дурное дело, такое же осуждение, совершаемое сознательно и связанное с причинением насилия над осужденным, не считает дурным делом и не запрещает, — на это нет ответа; и ни малейшего намека о том, чтобы можно было под осуждением разуметь и то осуждение, которое происходит на судах и от которого страдают миллионы. Мало того, по случаю этих слов: не судите и не осуждайте, этот-то самый жестокий прием судейского осуждения старательно обходится и даже выгораживается. Богословы-толкователи упоминают о том, что в христианских государствах суды должны быть и не противны закону Христа.

Заметив это, я уже усомнился в искренности этих толкований и обратился к самому переводу слов: *судите* и *осуждайте* к тому, с чего следовало бы начать.

В подлиннике слова эти κρίνω и καταδικάζω. Неверный перевод слова в послании Иакова, переведенного словом злословить, подтверждал мое сомнение в верности перевода.

Справляюсь, как переводятся в Евангелиях слова κρίνω и καταδικάζω на разные языки, и нахожу, что в Вульгате слово осуждать переведено *condamne*; так же и по-французски; по-славянски — осуждать; у Лютера переведено *verdammen* — проклинать.

Различие этих переводов еще усиливает мои сомнения. И я задаю себе вопрос: что значат и могут значить греческое слово κρίνω, употребленное в обоих Евангелиях, и слово καταδικάζω, употребленное у Луки — евангелиста, писавшего, по мнению знатоков, на довольно хорошем греческом языке. Как переведет эти слова человек, ничего не знающий об учении евангельском и его толкованиях и имеющий перед собой одно это изречение?

Справляюсь с общим лексиконом и нахожу, что слово κρίνω имеет много различных значений, и в том числе весьма употребительное значение — приговаривать по суду, казнить даже, но никогда не имеет значения злословить. Справляюсь с лексиконом Нового Завета и нахожу, что слово это в Новом Завете часто употребляется в смысле приговаривать по суду. Иногда употребляется в смысле отбирать, но никогда в смысле злословить. Итак, вижу, что

слово κρίνω можно перевести различно, но что перевод такой, при котором оно получает значение — злословить, есть самый далекий и неожиданный.

Справляюсь о слове катаδικάζω, присоединенном к слову κρίνω имеющему много значений, очевидно для того, чтобы определить то значение, в котором именно понимается писателем первое слово. Справляюсь о слове катаδικάζω в общем лексиконе и нахожу, что *слово это никогда не имеет никакого другого значения, как только приговаривать по суду к наказаниям или казнить*. Справляюсь с лексиконом Нового Завета и нахожу, что слово это употреблено в Новом Завете *четыре раза, и всякий раз в смысле засудить, казнить*. Справляюсь с контекстами и нахожу, что слово это употреблено в послании Иакова, гл. V, ст. 6, где сказано: «Вы осудили и убили праведного». Слово *осудили*, то самое слово катаδικάζω, употреблено по отношению к Христу, которого засудили. *И иначе, в другом смысле, это слово никогда не употребляется ни во всем Новом Завете и ни в каком греческом языке*.

Что ж это такое? До чего я обьюродивел! Я и каждый из нас, живущий в нашем обществе, если только призадумывался над участью людей, ужасался пред теми страданиями и тем злом, которое вносят в жизнь людей уголовные законы человеческие — зло и для судимых, и для судящих: от казней Чингис-хана и казней революции до казней наших дней.

Всякий человек с сердцем не миновал того впечатления ужаса и сомнения в добре при рассказе даже, не говоря, при виде казни людей такими же людьми: шпицрутенгов на смерть, гильотины, виселицы.

В Евангелии, каждое слово которого мы считаем священным, прямо и ясно сказано: у вас был уголовный закон — зуб за зуб, а я даю вам новый: *не противьтесь злу*; все исполняйте эту заповедь: не делайте зла за зло, а делайте всегда и всем добро, всех прощайте.

И далее прямо сказано: *не судите*. И чтобы невозможно было недоразумение о значении слов, которые сказаны, прибавлено: *не приговаривайте по суду к наказаниям*.

Сердце мое говорит ясно, внятно: не казните; наука говорит: не казните, чем больше казните — больше зла; разум говорит: не казните, злом нельзя пресечь зла. Слово бога, в которое я верю, говорит то же. И я читаю всё учение, читаю эти слова: *не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены, прощайте, и будете прощены*, признаю, что это слово бога, и говорю, что это значит то, что не надо заниматься сплетнями и злословием, и продолжаю считать суды христианским учреждением и себя судьей и христианином. И я ужаснулся пред той грубостью обмана, в котором я находился.

IV

Я понял теперь, что говорит Христос, когда он говорит: Вам сказано: око за око, зуб за зуб. А я вам говорю: не противься злу, а терпи его. — Христос говорит: вам внушено, вы привыкли считать хорошим и разумным то, чтобы силой отстаиваться от зла и вырывать глаз за глаз, учреждать уголовные суды, полицию, войско, отстаиваться от врагов, а я говорю: не делайте насилия, не участвуйте в насилии, не делайте зла никому, даже тем, которых вы называете врагами. Я понял теперь, что в положении о непротивлении злу Христос говорит не только, что выйдет непосредственно для каждого от непротивления злу, но он, в противоположение той основы, которою жило при нем по Моисею, по римскому праву и теперь по разным кодексам живет человечество, ставит положение непротивления злу, которое, по его учению, должно быть основой жизни людей вместе и должно избавить человечество от зла, наносимого им самому себе. Он говорит: вы думаете, что ваши законы исправляют зло, — они только увеличивают его. Один есть путь пресечения зла — делание добра за зло всем без всякого различия. Вы тысячи лет пробовали ту основу, попробуйте мою — обратную.

Удивительное дело! В последнее время мне часто случалось говорить с самыми различными людьми об этом законе Христа — непротивления злу. Редко, но я встречал

людей, соглашавшихся со мною. Но два рода людей никогда, даже в принципе, не допускают прямого понимания этого закона и горячо отстаивают справедливость противления злу. Это люди двух крайних полюсов: христиане патриоты-консерваторы, признающие свою церковь истинною, и атеисты-революционеры. Ни те, ни другие не хотят отказаться от права насилием противиться тому, что они считают злом. И самые умные, ученые люди из них никак не хотят видеть той простой, очевидной истины, что если допустить, что один человек может насилием противиться тому, что он считает злом, то точно так же другой может насилием противиться тому, что этот другой считает злом.

Недавно у меня была в руках поучительная в этом отношении переписка православного славянофила с христианином-революционером. Один отстаивал насилие войны во имя угнетенных братьев-славян, другой — насилие революции во имя угнетенных братьев — русских мужиков. Оба требуют насилия, и оба опираются на учение Христа.

Все на самые различные лады понимают учение Христа, но только не в том прямом простом смысле, который неизбежно вытекает из его слов.

Мы устроили всю свою жизнь на тех самых основах, которые он отрицает, не хотим понять его учение в его простом и прямом смысле и уверяем себя и других, или что мы исповедуем его учение, или что учение его нам не годится. Так называемые верующие верят, что Христос — бог, второе лицо троицы, сошедшее на землю для того, чтобы дать людям пример жизни, и исполняют сложнейшие дела, нужные для совершения таинств, для постройки церквей, для посылки миссионеров, учреждения монастырей, управления паствой, исправления веры, но одно маленькое обстоятельство они забывают — делать то, что он сказал. Неверующие всячески пробуют устроить свою жизнь, но только не по закону Христа, вперед решив, что этот закон не годится. Попытаться же делать то, что он говорит, этого никто не хочет. Но мало того, прежде чем даже попытаться делать это, и верующие и неверующие вперед решают, что это невозможно.

Он говорит просто, ясно: тот закон противления злу насилием, который вы положили в основу своей жизни, ложен и противоестественен; и дает другую основу — непротивления злу, которая, по его учению, одна может избавить человечество от зла. Он говорит: вы думаете, что ваши законы насилия исправляют зло; они только увеличивают его. Вы тысячи лет пытались уничтожить зло злом и не уничтожили его, а увеличили его. Делайте то, что я говорю и делаю, и узнаете, правда ли это.

И не только говорит, но сам всюю своею жизнью и смертью исполняет свое учение о непротивлении злу.

Верующие всё это слушают, читают это в церквях, называя это божественными словами, его называют богом, но говорят: всё это очень хорошо, но это невозможно при нашем устройстве жизни, — это расстроит всю нашу жизнь, а мы к ней привыкли и любим ее. И потому мы верим во всё это в том только смысле, что это есть идеал, к которому должно стремиться человечество, — идеал, который достигается молитвою и верою в таинства, в искупление и в воскресение из мертвых. Другие же, неверующие, свободные толкователи учения Христа, историки религий, — Штраусы, Ренаны и другие, — усвоив вполне церковное толкование о том, что учение Христа не имеет никакого прямого приложения к жизни, а есть мечтательное учение, утешающее слабоумных людей, пресерьезно говорят о том, что учение Христа годно было для проповедания диким обитателям захолустьев Галилеи, но нам, с нашей культурой, оно представляется только милою мечтою «*du charmant docteur*»,¹ как говорит Ренан. По их мнению, Христос не мог подняться до высоты понимания всей мудрости нашей цивилизации и культуры. Если бы он стоял на той же высоте образования, на которой стоят эти ученые люди, он не говорил бы тех милых пустяков: о птицах небесных, о подставлении щеки и заботе только о нынешнем дне. Ученые историки эти судят о христианстве по тому христианству, которое они видят в

¹ [очаровательного учителя,]

нашем обществе. По христианству же нашего общества и времени признается истинной и священной наша жизнь с ее устройством тюрем одиночного заключения, альказаров, фабрик, журналов, барделей и парламентов, и из учения Христа берется только то, что не нарушает этой жизни. А так как учение Христа отрицает всю эту жизнь, то из учения Христа не берется ничего, кроме слов. Ученые историки видят это и, не имея нужды скрывать это, как скрывают это мнимоверующие, это-то лишенное всякого содержания учение Христа и подвергают глубокомысленной критике и весьма основательно опровергают и доказывают, что в христианстве никогда ничего и не было, кроме мечтательных идей.

Казалось бы, прежде чем судить об учении Христа, надо понять, в чем оно состоит. И чтобы решать: разумно ли его учение или нет, надо прежде всего признавать, что он говорил то, что говорил. А этого-то мы и не делаем: ни церковные, ни вольнодумные толкователи. И очень хорошо знаем, почему мы этого не делаем.

Мы очень хорошо знаем, что учение Христа всегда обнимало и обнимает, отрицая их, все те заблуждения людские, те «тогу», пустые идолы, которые мы, назвав их церковью, государством, культурой, наукой, искусством, цивилизацией, думаем выгородить из ряда заблуждений. Но Христос против них-то и говорит, не выгораживая никаких «тогу».

Не только Христос, но все пророки еврейские — Иоанн Креститель, все истинные мудрецы мира об этой-то самой церкви, об этом самом государстве, об этой самой культуре, цивилизации и говорят, называя злом и погибелью людей.

Положим, строитель скажет жителю: ваш дом дурен, его надо весь перестроить. А потом будет говорить подробности о том, какие бревна, как срезать и куда положить. Житель пропустит мимо ушей слова о том, что дом дурен и надо его перестроить, и будет с притворным уважением слушать слова строителя о дальнейших распоряжениях и размещении в доме. Очевидно, все советы строителя будут казаться непригодными, а не уважающий строителя будет прямо называть эти советы глупыми. Это самое совершается так точно по отношению к учению Христа.

Не найдя лучшего сравнения, я употребил это. И вспомнил, что Христос, преподавая свое учение, употребил это самое сравнение. Он сказал: я разрушу ваш храм и в три дня построю новый. И за это самое его распяли. И за это самое и теперь распинают его учение.

Наименьшее, что можно требовать от людей, судящих о чьем-нибудь учении, это то, чтобы судили об учении учителя так, как он сам понимал его. А он понимал свое учение не как какой-то далекий идеал человечества, исполнение которого невозможно, не как мечтательные поэтические фантазии, которыми он пленял простодушных жителей Галилеи; он понимал свое учение как дело, такое дело, которое спасет человечество, и он не мечтал на кресте, а кричал и умер за свое учение. И так же умирали и умрут еще много людей. Нельзя говорить про такое учение, что оно — мечта.

Всякое учение истины — мечта для заблудших. Мы до того дошли, что есть много людей (и я был в числе их), которые говорят, что учение это мечтательно, потому что оно несвойственно природе человека. Несвойственно, говорят, природе человека подставить другую щеку, когда его ударяют по одной, несвойственно отдать свое чужому, несвойственно работать не на себя, а на другого. Человеку свойственно, говорят, отстаивать себя, свою безопасность, безопасность своей семьи, собственность, другими словами, — человеку свойственно бороться за свое существование. Ученый правовед научно доказывает, что самая священная обязанность человека есть отстаивание своего права, т. е. борьба.

Но стоит на минуту отрешиться от той мысли, что устройство, которое существует и сделано людьми, есть наилучшее, священное устройство жизни, чтобы возражение это о том, что учение Христа несвойственно природе человека, тотчас же обратилось против возражателей. Кто будет спорить о том, что не то, что мучить или убивать человека, но мучить собаку, убить курицу и теленка противно и мучительно природе человека. (Я знаю людей, живущих земледельческим трудом, которые перестали есть мясо только потому, что им приходилось самим убивать своих животных). А между тем, всё устройство нашей жизни таково, что всякое личное благо человека приобретает страданиями других людей, которые

противны природе человека. Всё устройство нашей жизни, весь сложный механизм наших учреждений, имеющих целью насилие, свидетельствует о том, до какой степени насилие противно природе человека. Ни один судья не решится задушить веревкой того, кого он приговорил к смерти по своему правосудию. Ни один начальник не решится взять мужика из плачущей семьи и запереть его в острог. Ни один генерал или солдат без дисциплины, присяги и войны не убьет не только сотни турок или немцев и не разорит их деревень, но не решится ранить ни одного человека. Всё это делается только благодаря той сложнейшей машине государственной и общественной, задача которой состоит в том, чтобы разбивать ответственность совершаемых злодейств так, чтобы никто не чувствовал противоестественности этих поступков. Одни пишут законы, другие прилагают их, третьи муштруют людей, воспитывая в них привычки дисциплины, т. е. бессмысленного и безответного повиновения, четвертые эти самые вымуштрованные люди — делают всякого рода насилия, даже убивают людей, не зная зачем и для чего. Но стоит человеку хоть на минуту мысленно освободиться от этой сети устройства мирского, в которой он запутался, чтобы понять, что ему несвойственно.

Не будем только утверждать, что привычное зло, которым мы пользуемся, есть несомненная божественная истина, и тогда ясно, что естественно и свойственно человеку: насилие или закон Христа? Знать ли, что спокойствие и безопасность моя и семьи, все мои радости и веселья покупаются нищетой, развратом и страданиями миллионов, — ежегодными виселицами, сотнями тысяч страдающих узников и миллионом оторванных от семей и одуренных дисциплиной солдат, городских и урядников, которые оберегают мои потехи заряженными на голодных людей пистолетами; покупать ли каждый сладкий кусок, который я кладу в свой рот или рот моих детей, всем тем страданием человечества, которое неизбежно для приобретения этих кусков; или знать, что какой ни есть кусок — мой кусок только тогда, когда он никому не нужен и никто из-за него не страдает. Стоит только понять раз, что это так, что всякая радость моя, всякая минута спокойствия при нашем устройстве жизни покупается лишениями и страданиями тысяч, удерживаемых насилием; стоит раз понять это, чтобы понять, что свойственно всей природе человека, т. е. не одной животной, но и разумной и животной природе человека; стоит только понять закон Христа во всем его значении, со всеми последствиями его для того, чтобы понять, что не учение Христа несвойственно человеческой природе, но всё оно только в том и состоит, чтобы откинуть несвойственное человеческой природе мечтательное учение людей о противлении злу, делающее их жизнь несчастною.

Учение Христа о непротавлении злу — мечта! А то, что жизнь людей, в душу которых вложена жалость и любовь друг к другу, проходила и теперь проходит для одних в устройстве костров, кнутов, колесований, плетей, рванья ноздрей, пыток, кандалов, каторг, виселиц, расстреливаний, одиночных заключений, острогов для женщин и детей, в устройстве побоищ десятками тысяч на войне, в устройстве периодических революций и пугачевщин, а жизнь других — в том, чтобы исполнять все эти ужасы, а третьих — в том, чтобы избегать этих страданий и оплачивать за них, — такая жизнь не мечта.

Стоит понять учение Христа, чтобы понять, что мир, не тот, который дан богом для радости человека, а тот мир, который учрежден людьми для гибели их, есть мечта, и мечта самая дикая, ужасная, бред сумасшедшего, от которого стоит только раз проснуться, чтобы уже никогда не возвращаться к этому страшному сновидению.

Бог сошел на землю; сын бога — одно лицо святой троицы, — вочеловечился, искупил грех Адама; бог этот, нас приучили так думать, должен был сказать что-нибудь таинственно-мистическое, такое, что трудно понять, что можно понять только помощью веры и благодати, и вдруг слова бога так просты, так ясны, так разумны. Бог говорит просто: не делайте друг другу зла — не будет зла. Неужели так просто откровение бога? Неужели только это сказал бог? Нам кажется, что мы это всё знаем. Это так просто.

Илья пророк, убегая от людей, укрылся в пещере, и ему было откровение, что бог явится ему у входа пещеры, Сделалась буря — ломались деревья. Илья подумал, что это бог,

и посмотрел, но бога не было. Потом началась гроза; гром и молния были страшные. Илья вышел посмотреть, — нет ли бога, но бога не было. Потом сделалось землетрясение: огонь шел из земли, трескались скалы, валились горы. Илья посмотрел, но бога не было. Потом стало тихо, и легкий ветерок пахнул с освеженных полей. Илья посмотрел, — и бог был тут. Таковы и эти простые слова бога: не противься злу.

Они очень просты, но в них выражен закон бога и человека, единственный и вечный. Закон этот до такой степени вечен, что если и есть в исторической жизни движение вперед к устранению зла, то только благодаря тем людям, которые так поняли учение Христа и которые переносили зло, а не сопротивлялись ему насилием. Движение к добру человечества совершается не мучителями, а мучениками. Как огонь не тушит огня, так зло не может потушить зла. Только добро, встречая зло и не заражаясь им, побеждает зло. То, что это так, есть в мире души человека такой же непреложный закон, как закон Галилея, но более непреложный, более ясный и полный. Люди могут отступать от него, скрывая его от других, но все-таки движение человечества к благу может совершаться только на этом пути. Всякий ход вперед сделан только во имя непротивления злу. И ученик Христа может увереннее, чем Галилей, в виду всех возможных соблазнов и угроз, утверждать: «И все-таки, не насилием, а добром только вы уничтожите зло». И если, медленно это движение, то только благодаря тому, что ясность, простота, разумность, неизбежность и обязательность учения Христа скрыты от большинства людей самым хитрым и опасным образом, скрыты под чужим учением, ложно называемым его учением.

V

Всё подтверждало верность открывшегося мне смысла учения Христа. Но долго я не мог привыкнуть к той странной мысли, что после 1800 лет исповедания Христова закона миллиардами людей после тысяч людей, посвятивших свою жизнь на изучение этого закона, теперь мне пришлось, как что-то новое, открывать закон Христа. Но как ни странно это было, это было так: учение Христа о непротивлении злу восстало предо мной, как что-то совершенно новое, о чем я не имел ни малейшего понятия. И я спросил себя: отчего это могло произойти? У меня должно было быть какое-нибудь ложное представление о значении учения Христа для того, чтобы я мог так не понять его. И ложное представление это было.

Приступая к чтению Евангелия, я не находился в том положении человека, который, никогда ничего не слышав об учении Христа, вдруг в первый раз услышал его; а во мне была уже готова целая теория о том, как я должен понимать его. Христос не представлялся мне пророком, который открывает мне божеский закон, а он представлялся мне дополнителем и разъяснителем уже известного мне несомненного закона бога. Я имел уже целое, определенное и очень сложное учение о боге, о сотворении мира и человека и о заповедях его, данных людям через Моисея.

В Евангелиях я встретил слова: «Вам сказано: око за око и зуб за зуб; а я говорю вам: не противьтесь злу». Слова: «око за око и зуб за зуб» — была заповедь, данная богом Моисею. Слова: «я говорю: не противься злу или злему», была новая заповедь, которая отрицала первую.

Если бы я просто относился к учению Христа, без той богословской теории, которая с молоком матери была всосана мною, я бы просто понял простой смысл слов Христа. Я бы понял, что Христос отрицает старый закон и дает свой, новый закон. Но мне было внушено, что Христос не отрицает закон Моисея, а, напротив, утверждает его весь до малейшей черты и йоты и восполняет его. Стихи 17—23 V гл. Матфея, в которых утверждается это, всегда, при прежних чтениях моих Евангелия, поражали меня своей неясностью и вызывали сомнения. Насколько я знал тогда Ветхий Завет, в особенности последние книги Моисея, в которых изложены такие мелочные, бессмысленные и часто жестокие правила, при каждом из которых говорится: «и бог сказал Моисею», мне казалось странным, чтобы Христос мог утвердить весь этот закон, и непонятно, зачем он это сделал. Но я оставлял тогда вопрос, не

решая его. Я принимал на веру то с детства внушенное мне толкование, что оба закона эти суть произведения святого духа, что законы эти соглашаются, что Христос утверждает закон Моисея и дополняет и восполняет его. Как происходит это восполнение, как разрешаются те противоречия, которые бросаются в глаза в самом Евангелии и в этих стихах 17—20 и в словах: «а я *говорю*», я никогда не давал себе ясного отчета. Теперь же, признав простой и прямой смысл учения Христа, я понял, что два закона эти противоположны и что не может быть и речи о соглашении их или восполнении одного другим, что необходимо принять один из двух и что толкование стихов 17—20 пятой главы Матфея, и прежде поражавших меня своей неясностью, должно быть неверно. И, вновь прочтя стихи 17—19, те самые, которые казались мне всегда так неясны, я был поражен тем простым и ясным смыслом этих стихов, который вдруг открылся мне.

Смысл этот открылся мне не оттого, что я что-нибудь придумывал, переставлял, а только оттого, что откинул то искусственное толкование, которое присоединялось к этому месту.

Христос говорит (Матф. V, 17—18): «Не думайте, чтобы я пришел нарушить закон или (учение) пророков; я не нарушить пришел, но исполнить. Потому что верно говорю вам, скорее упадет небо и земля, чем выпадет одна малейшая иота или черта (частица) закона, пока не исполнится всё».

И 20-й стих прибавляет: «Ибо, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, не войдете в царство небесное».

Христос говорит: я не пришел нарушить вечный закон, для исполнения которого написаны ваши книги и пророчества, но пришел научить исполнять вечный закон; но я говорю не про ваш тот закон, который называют законом бога ваши учителя-фарисеи, а про тот закон вечный, который менее, чем небо и земля, подлежит изменению.

Я выражаю ту же мысль другими словами только для того, чтобы оторвать мысль от обычного ложного понимания. Не будь этого ложного понимания, то нельзя точнее и лучше выразить эту мысль, чем как она выражена в этих стихах.

Толкование, что Христос не отрицает закон, основано на том, что слову закон в этом месте, благодаря сравнению с иотою писанного закона, без всякого основания и противно смыслу слов, приписано значение писанного закона, — вместо закона вечного. Но Христос говорит не о писанном законе. Если бы Христос в этом месте говорил о законе писанном, то он употребил бы обычное выражение: закон и пророки, то самое, которое он всегда и употребляет, говоря о писанном законе; но он употребляет совсем другое выражение: *закон или пророка*. Если бы Христос говорил о законе писанном, то он и в следующем стихе, составляющем продолжение мысли, употребил бы слово: «закон и пророки», а не слово *закон* без прибавления, как оно стоит в этом стихе. Но, мало того, Христос употребляет то же выражение, — по Евангелию Луки в такой связи, что значение это становится уже несомненным. У Луки XVI, 15, Христос говорит фарисеям, полагавшим праведность в писанном законе. Он говорит: «Вы оправдываете сами себя перед людьми, но бог знает ваши сердца; что у людей высоко, то мерзость перед богом». 16. «Закон и пророки до Иоанна, а с тех пор царство божие благовествуется, и всякий своим усилием входит в него». И тут-то, вслед за этим (см. 17) он говорит: «Легче небу и земле прейти, чем из *закона* выпасть одной черточке». Словами: «закон и пророки до Иоанна» Христос упраздняет закон писанный. Словами: «легче небу и земле прейти, чем из закона выпасть черточке», он утверждает закон вечный. В первых словах он говорит: *закон и пророки*, т. е. писанный закон; во-вторых, он говорит просто: закон, следовательно закон вечный. Стало быть, ясно, что здесь противопоставляется закон вечный закону писанному² и что точно то же противопоставление

² Мало этого, как бы для того, чтобы уж не было никакого сомнения о том, про какой закон он говорит, он тотчас же в связи с этим приводит пример, самый резкий пример отрицания закона Моисеева — законом вечным, тем, из которого не может выпасть ни одна черточка; он, приводя самое резкое противоречие закону Моисея, которое есть в Евангелии, говорит (Лука XVI, 18): «всякий, кто отпускает жену и женится на другой,

делается и в контексте Матфея, где закон вечный определяется словами: *закон или пророки* .

Замечательна история текста стихов 17 и 18 по вариантам. В большинстве списков стоит только слово «закон» без прибавления «пророки». При таком чтении уже не может быть перетолкования о том, что это значит закон писанный. В других же списках, в Тишендорфовском и в каноническом, стоит прибавка — «пророки», но не с союзом «и», а с союзом «или», *закон или пророки* , что точно так же исключает смысл вечного закона.

В некоторых же списках, не принятых церковью, стоит прибавка: «пророки» с союзом «и», а не «или»; и в тех же списках при повторении слова закон прибавляется опять: «и пророки». Так что смысл всему изречению при этой переделке придается такой, что Христос говорит только о писанном законе.

Эти варианты дают историю толкований этого места. Смысл один ясный тот, что Христос, так же как и по Луке, говорит о законе вечном: но в числе писателей Евангелий находятся такие, которым желательно признать обязательность писанного закона Моисеева, и эти писатели присоединяют к слову закон прибавку — «и пророки» — и изменяют смысл.

Другие христиане, не признающие книг Моисея, или исключают вставку, или заменяют слово: «и» — «καί» словом «или» — «ή». И с этим «или» это место входит в канон. Но, несмотря на ясность и несомненность текста в том виде, в котором он вошел в канон, канонические толкователи продолжают толковать его в том духе, в котором были сделаны не вошедшие в текст изменения. Место это подвергается бесчисленным толкованиям, тем больше удаляющимся от его прямого значения, чем менее толкующий согласен с самым прямым, простым смыслом учения Христа, и большинство толкователей удерживают апокрифический смысл, тот самый, который отвергнут текстом.

Чтобы вполне убедиться в том, что в этих стихах Христос говорит только о вечном законе, стоит вникнуть в значение того слова, которое подало повод лжетолкованиям. По-русски — закон, по-гречески — νόμος, по-еврейски — тора, как по-русски, по-гречески и по-еврейски имеют два главные значения: одно — самый закон без отношения к его выражению. Другое понятие есть писанное выражение того, что известные люди считают законом. Различие этих двух значений существует и во всех языках.

По-гречески в посланиях Павла различие это даже определяется иногда употреблением члена. Без члена Павел употребляет это слово большею частью в смысле писанного закона, с членом — в смысле вечного закона бога.

У древних евреев, у пророков, у Исаии — слово закон, *тора* , всегда употребляется в смысле вечного, единого, невыраженного откровения — научения бога. И то же слово — закон, *тора* , у Ездры в первый раз и в позднейшее время, во время Талмуда, стало употребляться в смысле написанных пяти книг Моисея, над которыми и пишется общее заглавие — тора, так же как у нас употребляется слово Библия; но с тем различием, что у нас есть слово, чтобы различать между понятиями — Библии и закона бога, а у евреев одно и то же слово означает оба понятия.

И потому Христос, употребляя слово закон — «тора», употребляет его, то утверждая его, как Исаия и другие пророки, в смысле закона бога, который вечен, то отрицая его в смысле писанного закона пяти книг. Но для различия, когда он, отрицая его, употребляет это слово в смысле писанного закона, он прибавляет всегда слово: «и пророки», или слово: «ваш», присоединяя его к слову закон.

Когда он говорит: «не делай того другому, что не хочешь, чтобы тебе делали, в этом одном — весь закон и пророки », он говорит о писанном законе, он говорит, что весь писанный закон может быть сведен к одному этому выражению вечного закона, и этими словами упраздняет писанный закон.

Когда он говорит (Лук. XVI, 16): «закон и пророки до Иоанна Крестителя», он говорит о писанном законе и словами этими отрицает его обязательность.

прелюбодействует», т. е. в писанном законе позволено разводиться, а по вечному — это грех.

Когда он говорит (Иоан. VII, 19): «не дал ли вам *Моисей закона*, и никто не исполняет его»; или (Иоан. VIII, 17): «не сказано ли в законе *вашем*»; или: «слово, написанное в законе *их*» (Иоан. XV, 25), — он говорит о писанном законе, о том законе, который он отрицает, о том законе, который его самого присуждает к смерти (Иоан. XIX, 7). Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и *по закону нашему он должен умереть*». Очевидно, что этот закон иудеев, тот, по которому казнили, не есть тот закон, которому учил Христос. Но когда Христос говорит: я не нарушить пришел закон, но научить вас исполнять его, потому что ничто не может измениться в законе, а всё должно исполниться, он говорит не о законе писанном, а о законе божественном, вечном, и утверждает его.

Но положим, что всё это — формальные доказательства, положим, что я старательно подобрал контексты, варианты, старательно скрал всё то, что было против моего толкования; положим, что толкования церкви очень ясны и убедительны и что Христос действительно не нарушал закон Моисея, а оставил его во всей силе. Положим, что это так. Но тогда чему же учит Христос? По толкованиям церкви, он учил тому, что он, второе лицо троицы, сын бога отца, пришел на землю и искупил своей смертью грех Адама. Но всякий, читавший Евангелие, знает, что Христос в Евангелиях или ничего, или очень сомнительно говорит про это. Но положим, что мы не умеем читать и там говорится про это. Но, во всяком случае, указание Христа на то, что он есть второе лицо троицы и искупляет грехи человечества, занимает самую малую и неясную часть Евангелия. В чем же всё остальное содержание учения Христа? Нельзя отрицать, и все христиане всегда признавали это, что главное содержание учения Христа есть учение о жизни людей: как надо жить людям между собою.

Признав, что Христос учил новому образу жизни, надо представить себе каких-нибудь определенных людей, среди которых он учил.

Представим себе русских, или англичан, или китайцев, или индусов, или даже диких на островах, и мы увидим, что у всякого народа всегда есть свои правила жизни, свой закон жизни, и что потому, если учитель учит новому закону жизни, то он этим самым учением разрушает прежний закон жизни; не разрушая его, он не может учить. Так это будет в Англии, в Китае и у нас. Учитель неизбежно будет разрушать наши законы, которые мы считаем дорогими и почти священными; но среди нас еще может случиться то, что проповедник, уча новой жизни, будет разрушать только наши законы гражданские, государственные, наши обычаи, но не будет касаться законов, которые мы считаем божественными, хотя это и трудно предположить. Но среди еврейского народа, у которого был только один закон, — весь божественный и обнимавший всю жизнь со всеми мельчайшими подробностями, среди такого народа, что мог проповедывать проповедник, вперед объявлявший, что весь закон народа, среди которого он проповедует, ненарушим? Но, положим, и это недоказательно. Пусть те, которые толкуют слова Христа так, что он утверждал весь закон Моисея, пусть они объяснят себе: кого же во всю свою деятельность обличал Христос, против кого восставал, называя их фарисеями, законниками, книжниками?

Кто не принял учения Христа и распял его с своими первосвященниками?

Если Христос признавал закон Моисея, то где же были те настоящие исполнители этого закона, которых бы одобрял за это Христос? Неужели ни одного не было? Фарисеи, нам говорят, была секта. Евреи не говорят этого. Они говорят: фарисеи — истинные исполнители закона. Но, положим, это секта. Саддукеи тоже секта. Где же были не секты, а настоящие?

По Евангелию Иоанна, все они, враги Христа, прямо называются иудеи. И они не согласны с учением Христа и противны ему только потому, что они иудеи. Но в Евангелиях не одни фарисеи и саддукеи выставляются врагами Христа; врагами Христа называются и законники, те самые, которые блюдут закон Моисея, книжники, те самые, которые читают закон, старейшины, те самые, которые считаются всегда представителями мудрости народной.

Христос говорит: я не праведных пришел призывать к покаянию, к перемене жизни, μετάνοια, но грешных. Где же, какие же были эти праведные? Неужели один Никодим? Но и Никодим представлен нам добрым человеком, но заблудшим.

Мы так привыкли к тому, по меньшей мере странному толкованию, что фарисеи и какие-то злые иудеи распяли Христа, что тот простой вопрос о том, где же были те не фарисеи и не злые, а настоящие иудеи, державшие закон, и не приходит нам в голову. Стоит задать себе этот вопрос, чтобы всё стало совершенно ясно. Христос — будь он бог или человек — принес свое учение в мир среди народа, державшегося закона, определявшего всю жизнь людей и называвшегося законом бога. Как мог отнестись к этому закону Христос?

Всякий пророк — учитель веры, открывая людям закон бога, всегда встречается между людьми уже то, что эти люди считают законом бога, и не может избежать двоякого употребления слова закон, означающего то, что эти люди считают ложно законом бога *ваши закон*, и то, что есть истинный, вечный закон бога. Но мало того, что не может избежать двоякого употребления этого слова, проповедник часто не хочет избежать его и умышленно соединяет оба понятия, указывая на то, что в том ложном в его совокупности законе, который исповедуют те, которых он обращает, что и в этом законе есть истины вечные. И всякий проповедник эти-то знакомые обращаемым истины и берет за основу своей проповеди. То самое делает и Христос среди евреев, у которых и тот и другой закон называется одним словом *тора*. Христос по отношению к закону Моисея и еще более к пророкам, в особенности Исаии, слова которого он постоянно приводит, признает, что в еврейском законе и пророках есть истины вечные, божеские, сходящиеся с вечным законом, и их-то, как изречение — люби бога и ближнего, — берет за основание своего учения.

Христос много раз выражает эту самую мысль (Лук. X, 26). Он говорит: в законе что написано? *Как читаешь?* — И в законе можно найти вечную истину, если умеешь читать. И он указывает не раз на то, что заповедь их закона о любви к богу и ближнему есть заповедь закона вечного (Матф. XIII, 52). Христос после всех тех притч, которыми он объясняет ученикам значение своего учения, в конце всего, как относящееся ко всему предшествующему, говорит: поэтому-то всякий книжник, т. е. грамотный, наученный истине, подобен хозяину, который берет из своего сокровища (вместе, безразлично) и старое и новое.

Св. Ириней, а за ним и вся церковь точно так и понимают эти слова, но, совершенно произвольно и нарушая тем смысл речи, приписывают этим словам значение того, что всё старое — священо. Смысл ясный тот, что кому нужно доброе, тот берет не одно новое, но и старое, и что потому, что оно старое, его нельзя отбрасывать. Христос этими словами говорит, что он не отрицает того, что в древнем законе вечно. Но когда ему говорят о всем законе или о формах его, — он говорит, что нельзя вливать вино новое в мехи старые. Христос не мог утверждать весь закон, но он не мог также и отрицать весь закон и пророков, тот закон, в котором сказано: люби ближнего как самого себя, и тех пророков, словами которых он часто высказывает свои мысли.

И вот, вместо этого простого и ясного понимания самых простых слов, как они сказаны и как они подтверждаются всем учением Христа, подставляется туманное толкование, вводящее противоречие туда, где его нет, и тем уничтожающее значение учения Христа, сводящее его на слова и восстанавливающее на деле учение Моисея во всей его дикой жестокости.

По всем церковным толкованиям, особенно с пятого века, Христос не нарушал писанный закон, а утверждал его. Но как он утвердил его? Как может быть соединен закон Христа с законом Моисея? на это нет никакого ответа. Во всех толкованиях делается игра слов и говорится о том, что Христос исполнил *закон Моисея* тем, что на нем исполнились пророчества, и о том, что Христос *через нас*, через веру людей в себя, исполнил закон. Единственный же существенный для каждого верующего вопрос о том, как соединить два противоречивые закона, определяющие жизнь людей, остается даже без попытки разрешения. И противоречие между тем стихом, в котором говорится, что Христос не разрушает закон, и стихом, где говорится: «вам сказано..., а я говорю вам»... и между всем духом учения Моисея и учением Христа остается во всей силе.

Всякий интересующийся этим вопросом пусть сам посмотрит церковные толкования

этого места, начиная от Иоанна Златоуста и до нашего времени. Только прочтя эти длинные толкования, он ясно убедится, что тут не только нет разрешения противоречия, но есть искусственно внесенное противоречие туда, где его не было. Невозможные попытки соединения несоединимого ясно показывают, что соединение это не есть ошибка мысли, а что соединение имеет ясную и определенную цель, что оно нужно. И даже видно, зачем оно нужно.

Вот что говорит Иоанн Златоуст, возражая тем, которые отвергают закон Моисея (толкование на Евангелие Матфея Иоанна Златоуста, т. I, стр. 320, 321):

«Далее, испытывая древний закон, в коем повелевается исторгать око за око и зуб за зуб, тотчас возражают: как может быть благим тот, который говорит сие? Что же мы на сие скажем? — *То, что это, напротив, есть величайший знак человеколюбия божия.* ³ Не для того он постановил сей закон, чтобы мы исторгали глаза один у другого, но чтобы, опасаясь потерпеть сие зло от других, не причиняли и им оно. Подобно тому, как, угрожая погибелью ниневитянам, он не хотел их погубить (ибо если б он хотел сего, то надлежало бы ему молчать), но хотел только сим страхом сделать их лучшими, оставить гнев свой. Так и тем, кои так дерзки, что готовы выколоть у других глаза, определил наказание с тою целью, что если они по доброй воле не захотят удержаться от сей жестокости, то, по крайней мере, страх препятствовал бы им отнимать зрение у ближних. Если бы это была жестокость, то жестокостию было бы и то, что запрещается убийство, возбраняется прелюбодеяние. Но, так говорить могут только сумасшедшие, дошедшие до последней степени безумия. А я столько страшусь назвать сии постановления жестокими, *что противное оным почел бы делом беззаконным*, ⁴ судя по здравому человеческому смыслу. Ты говоришь, что бог жесток потому, что повелел исторгать око за око; а я скажу, что когда бы он не дал такого повеления, тогда бы справедливее многие могли бы почесть его таким, каким ты его называешь». Иоанн Златоуст прямо признает закон зуб за зуб законом божественным, и *противное закону зуб за зуб*, т. е. учение Христа о непротивлении злу, делом беззаконным. (Стр. 322, 323): «Положим, что весь закон уничтожен, — далее говорит Иоанн Златоуст, — и никто не страшится определенного оным наказания, — что всем порочным позволено без всякого страха жить по своим склонностям, и прелюбодеям, и убийцам, и вора, и клятвопреступникам. Не низвергнется ли тогда всё, не наполнятся ли бесчисленными злодеяниями и убийствами города, торжища, дома, земля, море и вся вселенная? Это всякому очевидно. Если и при существовании законов, при страхе и угрозах, злые намерения едва удерживаются, то когда бы отнята была и сия преграда, что тогда препятствовало бы людям решаться на зло? Какие бедствия не вторглись бы тогда в жизнь человеческую? Не только то есть жестокость, когда злым позволяют делать, что хотят, но и то, когда человека, не учинившего никакой несправедливости, оставляют страдать невинно без всякой защиты. Скажи мне, если бы кто-нибудь, собрав отовсюду злых людей и вооруживши их мечами, приказал им ходить по всему городу и убивать всех встречающихся, — может ли быть что бесчеловечнее сего? Напротив, если бы кто-нибудь другой сих вооруженных людей связал и силою заключил их в темницу, а тех, которым угрожала смерть, исхитил бы из рук беззаконников оных, может ли что-нибудь быть человеколюбивее сего?»

Иоанн Златоуст не говорит: чем будет руководствоваться кто-нибудь другой в определении злых? Что если он сам злой и будет сажать в темницу добрых?

«Теперь приложи сии примеры к закону: Повелевающий исторгать око за око налагает сей страх, как некие крепкие узы, на души порочных и уподобляется человеку, связавшему оных вооруженных; а кто не определил бы никакого наказания преступникам, тот вооружил бы их бесстрашием и был бы подобен человеку, который роздал злодеям мечи и разослал их

³ [Курсив Толстого.]

⁴ [Курсив Толстого.]

по всему городу».

Если Иоанн Златоуст признает закон Христа, то он должен сказать: кто же будет исторгать глаза и зубы и сажать в темницу? Если бы повелевающий исторгать око за око, т. е. бог, сам бы исторгал, то тут не было бы противоречия, а то это надо делать людям, а людям этим сын божий сказал, что этого не надо делать. Бог сказал: исторгать зубы, а сын сказал: не исторгать, — надо признать одно из двух, и Иоанн Златоуст и за ним вся церковь признает повеление отца, т. е. Моисея, и отрицает повеление сына, т. е. Христа, которого учение будто бы исповедует.

Христос отвергает закон Моисея, дает свой. Для человека, верующего Христу, нет никакого противоречия. Он и не обращает никакого внимания на закон Моисея, а верует в закон Христа и исполняет его. Для человека, верующего закону Моисея, тоже нет никакого противоречия. Евреи признают слова Христа пустыми и верят закону Моисея. Противоречие является только для тех, которые хотят жить по закону Моисея, а уверяют себя и других, что они верят закону Христа, — для тех, которых Христос называл лицемерами, порождениями ехидны.

Вместо того чтобы признать одно из двух: закон Моисея или Христа, признается, что оба божественно-истинны.

Но когда вопрос касается дела самой жизни, то прямо отрицается закон Христа и признается закон Моисея.

В этом ложном толковании, если вникнуть в значение его, страшная, ужасная драма борьбы зла и тьмы с благом и светом.

Среди еврейского народа, запутанного бесчисленными внешними правилами, наложенными на него левитами под видом божеских законов, пред каждым из которых стоит изречение: «и бог сказал Моисею», — является Христос. Не только отношения человека к богу, его жертвы, праздники, посты, отношения человека к человеку, народные, гражданские, семейные отношения, все подробности личной жизни: обрезание, омовение себя и чаш, одежды, — всё определено до последних мелочей и всё признано повелением бога, законом бога. Что же может сделать, не говорю Христос-бог, но пророк, но самый обыкновенный учитель, уча такой народ, не нарушая тот закон, который уже определил всё до малейших подробностей? Христос так же, как и все пророки, берет из того, что люди считают законом бога, то, что есть точно закон бога, берет основы, откидывает всё остальное и с этими основами связывает свое откровение вечного закона. Нет нужды уничтожать всё, но неизбежно нарушить тот закон, который считается одинаково обязательным во всем. Христос делает это, и его упрекают в нарушении того, что считается законом бога, и за это самое его казнят. Но учение его остается у его учеников и переходит в другую среду и в века. Но в другой среде веками нарастают опять на это новое учение такие же наслоения, толкования, объяснения, опять подстановка человеческих низменных измышлений на место божеского откровения; вместо «и бог сказал Моисею» говорится: «изволися нам и св. духу». И опять буква покрывает дух. И что более всего поразительно — это то, что учение Христа связывается со всей той «тора» в смысле писанного закона, который он не мог не отрицать. Эта тора признается произведением откровения его духа истины, т. е. св. духа, и он сам оказывается в тенетах своего откровения. И всё учение его сводится на ничто.

Так вот отчего после 1880 лет со мной случилась такая страшная вещь, что мне пришлось открывать смысл учения Христа, как что-то новое.

Мне не открывать пришлось, а мне пришлось делать то самое, что делали и делают все люди, ищущие бога и закон его: находить то, что есть вечный закон бога, среди всего того, что люди называют этим именем.

VI

И вот, когда я понял закон Христа, как закон Христа, а не закон Моисея и Христа, и понял то положение этого закона, которое прямо отрицает закон Моисея, так все Евангелия,

вместо прежней неясности, разбросанности, противоречий, слились для меня в одно неразрывное целое, и среди их выделилась сущность всего учения, выраженная в простых, ясных и доступных каждому пяти заповедях Христа (Матф. V, 21—48), о которых я ничего не знал до сих пор.

Во всех Евангелиях говорится о заповедях Христа и об исполнении их.

Все богословы говорят о заповедях Христа; но какие эти *заповеди*, я не знал прежде. Мне казалось, что заповедь Христа состоит в том, чтобы любить бога и ближнего, как самого себя. И я не видел, что это не может быть заповедь Христа, потому что это есть заповедь древних (Второзаконие и Левит). Слова (Матф. V, 19) — кто нарушит одну из *заповедей сих* малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в царстве небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в царстве небесном, — я относил к заповедям Моисея. А то, что новые заповеди Христа ясно и определенно выражены в стихах V главы Матфея от 21—48, никогда не приходило мне в голову. Я не видел того, что в том месте, где Христос говорит: «вам сказано, а я говорю вам», выражены новые определенные заповеди Христа, и именно по числу ссылок на древний закон (считая две ссылки о прелюбодеянии за одну), пять новых, ясных и определенных заповедей Христа.

Про блаженства и про число их я слышал и встречал перечисление и объяснение их в преподавании закона божия; но о заповедях Христа я никогда ничего не слышал. Я, к удивлению моему, должен был открывать их.

И вот как я открывал их. Матф. V, 21—26. Сказано: «Вы слышали, что сказано древним: не убивай; кто же убьет, подлежит суду (Исход XX, 13). А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: «рака» — подлежит синедрону, а кто скажет: «безумный», подлежит геенне огненной (23). Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя (24), оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде помирись с братом твоим и тогда приди и принеси дар твой (25). Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу (26). Истинно говорю: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта».

Когда я понял заповедь о непротивлении злу, мне представилось, что стихи эти должны иметь такое же ясное, приложимое к жизни значение, как и заповедь о непротивлении злу. Значение, которое я приписывал прежде этим словам, было то, что всякий должен всегда избегать гнева против людей, не должен никогда говорить бранных слов и должен жить в мире со всеми без всякого исключения; но в тексте стояло слово, исключающее этот смысл. Сказано было: не гневайся *напрасно*, так что из слов этих не выходило предписания безусловного мира. — Слово это смущало меня. И за разъяснением моих сомнений я обратился к толкованиям богословов; и, к удивлению моему, нашел, что толкования отцов преимущественно направлены на разъяснение того, когда гнев извинителен и когда неизвинителен. Все толкователи церкви, особенно напирая на значение слова: *напрасно*, объясняют это место так, что не надо оскорблять невинно людей, не надо говорить бранных слов, но что гнев не всегда несправедлив, и в подтверждение своего толкования приводят примеры гнева апостолов и святых.

И я не мог не признать, что объяснение о том, что гнев, по их выражению, во славу божию не воспрещается, хотя и противное всему смыслу Евангелия, последовательно и имеет основание в слове *напрасно*, стоящем в 22 стихе. Слово это изменяло смысл всего изречения.

Не гневайся *напрасно*. Христос велит прощать всем, прощать без конца; сам прощает и запрещает Петру гневаться на Малха, когда Петр защищает своего ведомого на распятие учителя, казалось бы, не напрасно. И тот же Христос говорит в поучение всем людям: не гневайся *напрасно* и тем самым позволяет гневаться поделом, не напрасно. Христос проповедует мир всем простым людям, и вдруг, как бы оговариваясь в том, что это не относится до всех случаев, а есть случаи, когда можно гневаться на брата, — вставляет слово

«*напрасно*». И в толкованиях объясняется, что бывает гнев благовременный. Но кто же судья тому, говорил я, когда гнев благовременный? Я не видал еще людей гневающихся, которые бы не считали, что гнев их благовременный. Все считают, что гнев их законен и полезен. Слово это разрушало весь смысл стиха. Но слово стояло в священном писании, и я не мог выкинуть его. А слово это было подобно тому, что если бы к изречению: *люби ближнего*, было прибавлено: *люби хорошего ближнего*, или: *того ближнего, который тебе нравится*.

Всё значение места разрушалось для меня словом: «*напрасно*». Стихи 23 и 24 о том, что прежде, чем молиться, надо помириться с тем, кто имеет что против тебя, которые без слова «*напрасно*» имели бы прямой, обязательный смысл, получали тоже смысл условный.

Мне представлялось, что Христос должен был запрещать всякий гнев, всякое недоброжелательство и для того, чтобы его не было, предписывает каждому: прежде чем идти приносить жертву, т. е. прежде, чем становиться в общение с богом, вспомнить, нет ли человека, который сердится на тебя. И если есть такой, напрасно или не напрасно, то пойти и помириться, а потом уж приносить жертву или молиться. Так мне казалось, но по толкованиям выходило, что это место надо понимать условно.

По всем толкованиям объясняется так, что надо стараться помириться со всеми; но если этого нельзя сделать по испорченности людей, которые во вражде с тобою, то надо помириться в душе — в мыслях; и вражда других против тебя не мешает тебе молиться. Кроме того, слова: кто скажет рака и безумный, тот страшно виновен, всегда казались мне странными и неясными. Если запрещается ругаться, то почему избраны примеры таких слабых, почти неругательных слов? И потом, за что такая страшная угроза тому, у кого сорвется такое слабое ругательство, как рака, т. е. ничтожный? Всё это было неясно.

Мне чувствовалось, что тут происходит такое же непонимание, как при словах: *не судите*: я чувствовал, что как и в том толковании, так и здесь из простого, важного, определенного, исполнимого всё переходит в область туманную и безразличную. Я чувствовал, что Христос не мог так понимать слова: поди и помирись с ним, как они толкуются: «помирись в мыслях». Что значит: помирись в мыслях? Я думал, что Христос говорит: то, что он высказывал словами пророка: не жертвы хочу, но милости, т. е. любви к людям. И потому, если хочешь угодить богу, то прежде, чем молиться утром и вечером у обедни и всенощной, вспомни, — кто на тебя сердится; и поди устрой так, чтобы не был он сердит на тебя, а после уж молись, если хочешь. А то «*в мыслях*». Я чувствовал, что всё толкование, разрушавшее прямой и ясный для меня смысл, зиждилось на слове «*напрасно*». Если бы выкинуть его, смысл выходил бы ясный; но против моего понимания были все толкователи, против него было каноническое Евангелие со словом *напрасно*.

Отступи я в этом, я могу отступить в другом по своему произволу; другие могут сделать то же. Всё дело в одном слове. Не будь этого слова, всё было бы ясно. И я делаю попытку объяснить как-нибудь филологически это слово «*напрасно*» так, чтобы оно не нарушало смысла всего.

Справляюсь с лексиконами; общим, и вижу, что слово это по-гречески *εἰκῆ* — значит тоже и без цели, необдуманно; пытаюсь дать такое значение, которое бы не нарушало смысла, но прибавление слова, очевидно, имеет тот смысл, который придан ему. Справляюсь с евангельским лексиконом — значение слова то самое, которое придано ему здесь. Справляюсь с контекстом — слово употреблено в Евангелии только один раз, именно здесь. В посланиях употребляется несколько раз. В послании Коринфянам I, XV, 2, употребляется именно в этом смысле. Стало быть, нет возможности объяснить иначе, и надо признать, что Христос сказал: *не гневайтесь напрасно*. А должен сознаться, что для меня признать, что Христос мог в этом месте сказать такие неясные слова, давая возможность понимать их так, что от них ничего не оставалось, для меня признать это было бы то же, что отречься от всего Евангелия. Остается последняя надежда: во всех ли списках стоит это слово? Справляюсь с вариантами. Справляюсь по Грисбаху, у которого означены все варианты, т. е. как, в каких списках и у каких отцов употреблялось выражение. Справляюсь, и меня сразу приводит в

восторг то, что в этом месте есть выноски, есть варианты. Смотрю — варианты все относятся к слову *напрасно*. Большинство списков Евангелий и цитат отцов не имеют вовсе слова *напрасно*. Стало быть, большинство понимало, как и я. Справляюсь с Тишендорфом, — в списке самом древнем, — слова этого нет вовсе. Смотрю в переводе Лютера, из которого я бы мог узнать это самым коротким путем, — тоже нет этого слова.

То самое слово, которое нарушало весь смысл учения Христа, слово это — прибавка еще в пятом веке, не вошедшая в лучшие списки Евангелия.

Нашелся человек, который вставил это слово, и находились люди, которые одобряли эту вставку и объясняли ее.

Христос не мог сказать и не сказал этого ужасного слова, и тот первый, простой, прямой смысл всего места, который поразил меня и поражает всякого, есть истинный.

Но мало того, стоило мне понять, что слова Христа запрещают всегда всякий гнев против кого бы то ни было, чтобы смущавшее меня прежде запрещение говорить кому-нибудь слова *рака́* и *безумный* получило бы тоже другой смысл, чем тот, что Христос запрещает бранные слова. Странное непереуеенное еврейское слово *рака́* дало мне этот смысл. *Рака́* значит растоптанный, уничтоженный, несуществующий; слово *рака́* очень употребительное, значит исключение, *только не*. *Рака́* значит человек, которого не следует считать за человека. Во множественном числе слово *реким* употреблено в книге Судей IX, 4, где оно значит пропащие. Так вот этого слова Христос не велит говорить ни о каком человеке. Так же как и не велит ни о ком говорить другое слово *безумный*, как и *рака́*, мнимо освобождающее нас от человеческих обязанностей к ближнему. Мы гневаемся, делаем зло людям и, чтобы оправдать себя, говорим, что тот, на кого мы гневаемся, пропащий или безумный человек, И вот этих-то двух слов не велит Христос говорить о людях и людям. Христос не велит гневаться ни на кого и не оправдывать свой гнев тем, чтобы признавать другого пропащим или безумным.

И вот вместо туманных, подлежащих толкованиям и произволу, неопределенных и неважных выражений открылась мне с стиха 21—28 простая, ясная и определенная первая заповедь Христа: живи в мире со всеми людьми, никогда своего гнева на людей не считай справедливым. Ни одного, никакого человека не считай и не называй пропащим или безумным, ст. 22. И не только своего гнева не признавай не напрасным, но чужого гнева на себя не признавай напрасным, и потому: если есть человек, который сердится на тебя, хоть и напрасно, то, прежде чем молиться, поди и уничтожь это враждебное чувство, ст. 23, 24. Вперед старайся уничтожить вражду между собою и людьми, чтобы вражда не разгорелась и не погубила тебя, ст. 25, 26.

Вслед за первую заповедью с такою же ясностью открылась мне и вторая, начинающаяся также ссылкой на древний закон. Матф. V, 27—30, сказано: «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй (Исход XX, 14). А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не всё тело твое было ввержено в геенну. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не всё тело твое было ввержено в геенну».

Матф. V, 31—32: «Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную (Второзаконие XXIV, 1). А я говорю вам: кто разведется с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует».

Значение этих слов представилось мне такое: человек не должен допускать даже мысли о том, что он может соединяться с другой женщиной, кроме как с тою, с которой он раз уже соединился, и никогда не может, как это было по закону Моисея, переменить эту женщину на другую.

Как в первой заповеди против гнева дан совет тушить этот гнев вначале, совет, разъясненный сравнением с человеком, ведомым к судье, так и здесь Христос говорит, что

блуд происходит оттого, что мужчины и женщины смотрят друг на друга как на предмет похоти. Чтобы этого не было, надо устранить всё то, что может вызвать похоть. Избегать всего того, что возбуждает похоть, и, соединившись с женою, ни под каким предлогом не покидать ее; потому что покидание жен и производит разврат. Покинутые жены соблазняют других мужчин и вносят разврат в мир.

Мудрость этой заповеди поразила меня. Всё зло между людьми, вытекающее из половых сношений, устранялось ею. Люди, зная, что потеха половых сношений ведет к раздору, избегают всего того, что вызывает похоть, и, зная, что закон человека — жить парами, — соединяются попарно, не нарушая ни в каком случае этого союза; и всё зло раздора из-за половых сношений уничтожается тем, что нет мужчин и женщин одиноких, лишенных брачной жизни.

Но поражавшие меня всегда при чтении нагорной проповеди слова: *кроме вины прелюбодеяния*, понимаемые так, что человек может разводиться с женою в случае ее прелюбодеяния, поразили меня теперь еще больше.

Не говоря уже о том, что было что-то недостойное в самой той форме, в которой была выражена эта мысль, о том, что рядом с глубочайшими, по своему значению, истинами проповеди, точно примечание к статье свода законов, стояло это странное исключение из общего правила, самое исключение это противоречило основной мысли.

Справляюсь с толкователями, — и все (Иоанн Златоуст, стр. 365) и другие, даже ученые-богословы-критики, как Reuss, признают, что слова эти означают то, что Христос разрешает развод в случаях прелюбодеяния жены и что в XIX главе, в речи Христа, запрещающей развод, слова: *если не за прелюбодеяние*, означают то же. Читаю, перечитываю стих 32, и кажется мне, что это не может значить разрешение развода. Чтобы поверить себя, я справляюсь с контекстами и нахожу в Евангелии Матфея XIX, Марка X, Луки XVI, в Первом послании Павла коринфянам разъяснение того же учения неразрывности брака без всякого исключения.

У Луки XVI, 18, сказано: «Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует; и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует».

У Марка X, 4—12, сказано также без всякого исключения: «По жестокосердию вашему он написал вам заповедь сию. В начале же сотворения мужа и жены сотворил их бог. Посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будет два — одна плоть, так что они уже не двое, а одна плоть. Итак, что бог сочетал, того человек да не разлучает. Опять о том же спросили его в доме ученики его. Он сказал им: кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует».

То же самое сказано у Матфея, глава XIX, 4—9.

В Первом послании Павла коринфянам VII, с 1 по 12, развита подробно мысль предупреждения разврата тем, чтобы каждый муж и жена, соединившись, не покидали бы друг друга, удовлетворяли бы друг друга в половом отношении; и также прямо сказано, что один из супругов ни в каком случае не может покидать другого для сношений с другим или другою.

По Марку, Луке и по посланию Павла не позволено разводиться. По смыслу толкования о том, что муж и жена — единое тело, соединенное богом, толкования, повторенного в двух Евангелиях, не позволено. По смыслу всего учения Христа, предписывающего всем прощать, не исключая из этого падшую жену, не позволено. По смыслу всего места, объясняющего то, что отпущение жены производит разврат в людях, тем более развратной, — не позволено.

На чем же основано толкование, что развод допускается в случае прелюбодеяния жены? На тех словах 32-го стиха пятой главы, которые так странно поразили меня. Эти самые слова толкуются всеми так, что Христос разрешает развод в случае прелюбодеяния жены, и эти самые слова в XIX главе повторяются многими списками Евангелий и многими

отцами вместо слов: *если не за прелюбодеяние*.

И я опять стал читать эти слова, но очень долго не мог понять их. Я видел, что тут должна была быть ошибка перевода и толкования, но в чем она была — я долго не мог найти. Ошибка была очевидна. Противопоставляя свою заповедь заповеди Моисея, по которой всякий муж, как сказано там, возненавидевши свою жену, может отпустить ее и дать ей разводную, Христос говорит: *А я говорю вам, кто разведется с женой, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать*. В словах этих нет никакого противоположения и даже нет никакого определения того, что можно или нельзя разводиться. Сказано только, что отпущение жены подает ей повод прелюбодействовать. И вдруг при этом сделано исключение о жене, виновной в прелюбодеянии. Исключение это, относящееся до виновной в прелюбодеянии жены, когда дело идет о муже, вообще странно и неожиданно, но в этом месте просто глупо, потому что оно уничтожает и тот сомнительный смысл, который был в этих словах. Сказано, что отпущение жены заставляет ее прелюбодействовать, и предписывается отпускать жену, виновную в прелюбодеянии, как будто виновная в прелюбодеянии жена не будет прелюбодействовать.

Но мало этого, когда я разобрал внимательнее это место, я увидел, что оно не имеет даже грамматического смысла. Сказано: *кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, подает ей повод прелюбодействовать*; и предложение кончено. Говорится о муже, о том, что он, отпуская жену, подает ей повод прелюбодействовать. К чему же сказано тут: *кроме вины прелюбодеяния жены*? Ведь если бы было сказано, что муж, разводящийся с женой, кроме как за ее прелюбодеяние, прелюбодействует, тогда бы предложение было правильно. А то к подлежащему муж, который разводится, нет другого сказуемого, как *подает повод*. Как же к этому сказуемому отнести: *кроме вины прелюбодеяния*? Нельзя подавать повод, кроме вины прелюбодеяния жены. Даже если бы к словам: «кроме вины прелюбодеяния» было бы прибавлено слово *жены*, или *ее*, чего нет, то и тогда бы эти слова не могли относиться к сказуемому: *подает повод*. Слова эти, по принятому толкованию, относятся к сказуемому: *кто разводится*; но *кто разводится* есть не главное сказуемое; главное сказуемое — *подает повод*. К чему же тут: *кроме вины прелюбодеяния*? И при вине прелюбодеяния и без вины прелюбодеяния муж, разводясь, одинаково подает повод.

Ведь выражение такое же, как следующее: тот, кто лишит пропитания своего сына, кроме вины жестокости, подает ему повод быть жестоким. Выражение это, очевидно, не может иметь того смысла, что отец может лишит пропитания своего сына, если сын жесток. Если оно имеет смысл, то только тот, что отец, лишаящий сына пропитания, кроме своей вины жестокости, заставляет и сына быть жестоким. Точно так же и евангельское выражение имело бы смысл, если бы вместо слов: *вины прелюбодеяния*, стояло бы: *вины сладострастия, распутства или чего-нибудь подобного, выражающего не поступок, а свойство*.

И я спросил себя: да не сказано ли здесь просто то, что тот, кто разводится с женою, кроме того, что сам виновен в распутстве (так как каждый разводится только, чтобы взять другую), подает повод и жене прелюбодействовать. Если в тексте слово прелюбодеяние выражено такими словами, что оно может означать и распутство, то смысл ясен.

И повторилось то же, что так часто в таких случаях повторялось со мной. Текст подтвердил мое соображение, так что уже не могло быть сомнения.

Первое, что бросилось мне в глаза при чтении текста, было то, что слово *πορνεία*, переведенное тем же словом прелюбодеяние, как и слово *μοιχῆσαι*, — совершенно другое слово. Но, может быть, слова эти синонимы, или в Евангелиях употребляются одно за другое? Справляюсь со всеми лексиконами — общим и евангельским, и вижу, что слово *πορνεία*, соответствующее еврейскому — *זנות* — *fornicatio*, немецкому — *Hurerei*, русскому — распутство, — имеет самое определенное значение и никогда ни по каким лексиконам не значило и не может значить поступка прелюбодеяния — *adultère*, *Ehebruch*, как оно переводится. Оно значит порочное состояние или свойство, а никак не поступок, и не может быть переведено прелюбодеянием. Мало того, вижу, что слово:

прелюбодеяние, прелюбодействовать — везде в Евангелиях и даже в этих стихах обозначается другим словом ποῦναι. И стоило мне только исправить этот, очевидно умышленно неправильный, перевод, чтобы смысл, придаваемый толкователями этому месту и контексту XIX главы, стал совершенно невозможен, и чтобы тот смысл, при котором слово ποῦναι относится к мужу, стал бы несомненен.

Перевод, который делает всякий знающий по-гречески, будет следующий: παρεκτός — кроме, λόγου — вины, ποῦναι — распутства, ποιῇ — заставляет, αὐτήν — ее, ποῦναι — прелюбодействовать, и выходит слово в слово: тот, кто разводится с женою, кроме вины распутства, заставляет ее прелюбодействовать.

Тот же смысл получается и в XIX главе. Стоит только поправить неверный перевод и слова ποῦναι, и предлога ἐπί, переведенного *за*, и вместо «прелюбодеяния» поставить слово распутство, и вместо *за* поставить — *по* или *для*, чтобы ясно было, что слова: εἰ μὴ ἐπί ποῦναι не могут относиться к жене. И как слова παρεκτός λόγου ποῦναι не могут ничего значить другого, как — кроме вины распутства мужа, так и слова εἰ μὴ ἐπί ποῦναι, стоящие в XIX главе, не могут относиться ни к чему иному, как к распутству мужа. Сказано — εἰ μὴ ἐπί ποῦναι, — слово в слово: если не по распутству, не для распутства. И смысл выходит тот, что Христос, отвечая в этом месте на мысль фарисеев, которые думали, что если человек оставил свою жену не для того, чтобы распутничать, а чтобы жить брачно с другою, то он не прелюбодействует, — Христос на это говорит, что оставление жены, т. е. прекращение сношений с нею, если и не по распутству, а для брачного соединения с другою, все-таки прелюбодеяние. И выходит простой смысл, согласный со всем учением, с теми словами, в связи с которыми он находится и с грамматикой и с логикой.

И этот-то простой, ясный смысл, вытекающий из самих слов и из всего учения, мне надо было открывать с величайшим трудом. В самом деле, прочтите эти слова по-немецки, по-французски, где прямо сказано: pour cause d'infidélité, или à moins que cela ne soit pour cause d'infidélité, и догадайтесь, что это значит совсем другое. Слово παρεκτός, по всем лексиконам значащее: excepté, ausgenommen, кроме, — переводится целым предложением: à moins que cela ne soit. Слово ποῦναι переводится infidélité, Ehebruch, прелюбодеяние. И вот на этом умышленном искажении текста зиждется толкование, нарушающее и нравственный, и религиозный, и грамматический, и логический смысл слов Христа.

И опять для меня подтвердилась та ужасная и радостная истина, что смысл учения Христа прост, ясен, что положения его важны, определенны, но что толкования его, основанные на желании оправдать существующее зло, так затемнили его, что надо с усилием открывать его. Мне стало ясно, что если бы Евангелия были открыты наполовину сожженные или стерты, было бы легче восстановить их смысл, чем теперь, когда по ним прошли недобросовестные толкования, имеющие прямою целью извратить и скрыть смысл учения. В этом случае очевиднее еще, чем в прежнем, как самая частная цель оправдать развод какого-нибудь Иоанна Грозного послужила поводом к затемнению всего учения о браке.

Стоит отбросить толкования и вместо туманного и неопределенного является определенная и ясная вторая заповедь Христа.

Не делай себе потеху из похоти половых сношений; всякий человек, если он не скопец, т. е. не нуждается в половых сношениях, пусть имеет жену, а жена мужа, и муж имей жену одну, жена имей одного мужа, и ни под каким предлогом не нарушайте плотского союза друг с другом.

Тотчас же непосредственно после второй заповеди приводится опять ссылка на древний закон и излагается третья заповедь. Матф. V, 33—37. «Еще слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы, но исполняй перед господом клятвы твои (Левит XIX, 12. Второзаконие XXIII, 21). А я говорю вам: не клянись вовсе; ни небом, потому что оно престол божий; ни землею, потому что она подножие ног его; ни Иерусалимом, потому что он город великого царя; ни головою своею не клянись, потому что ни одного волоса не можешь сделать белым или черным. Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх

того, то от лукавого».

Место это при прежних чтениях моих всегда смущало меня. Оно смущало меня не своей неясностью, как место о разводе, не противоречиями с другими местами, как разрешение не напрасного гнева, не трудностью исполнения, как место о подставлении щеки, оно смущало меня, напротив, своей ясностью, простотою и легкостью. Рядом с правилами, глубина и значение которых ужасали и умиляли меня, вдруг стояло такое не нужное мне, пустое, легкое и не имеющее никаких ни для меня, ни для других последствий правило. Я и так не клялся ни Иерусалимом, ни богом, ничем, и мне это никакого труда не стоило; и, кроме того, мне казалось, что буду ли, или не буду я клясться, это не может иметь ни для кого никакой важности. И, желая найти объяснение этого, своей легкостью смущавшего меня правила, я обратился к толкователям. В этом случае толкователи помогли мне.

Все толкователи видят в этих словах подтверждение третьей заповеди Моисея — не клясться именем Божиим. Они объясняют эти слова так, что Христос, как и Моисей, запрещает произносить имя бога всуе. Но, кроме этого, толкователи еще объясняют и то, что это правило Христа не клясться — не всегда обязательно и никак не относится к той присяге, которую каждый гражданин дает предрержавшей власти. И подбираются тексты священного писания не для того, чтобы подтвердить прямой смысл предписания Христа, а для того, чтобы доказать то, что можно и должно не исполнять его.

Говорится, что Христос сам утвердил клятву на суде, когда на слова первосвященника: «Заклинаю тебя богом живым», отвечал: ты сказал; говорится, что апостол Павел призывает бога во свидетельство истины своих слов, что есть, очевидно, та же клятва; говорится, что клятвы были предписаны законом Моисеевым, но господь не отменил этих клятв; говорится, что отменяются только клятвы пустые, фарисейски-лицемерные.

И, поняв смысл и цель этих объяснений, я понял, что предписание Христа о клятве совсем не так ничтожно, легко и незначительно, как оно мне казалось, когда я в числе клятв, запрещенных Христом, не считал государственную присягу.

И я спросил себя: да не сказано ли тут то, что запрещается и та присяга, которую так старательно выгораживают церковные толкователи? Не запрещена ли тут присяга, та самая присяга, без которой невозможно разделение людей на государства, без которой невозможно военное сословие? Солдаты — это те люди, которые делают все насилия, и они называют себя — «*присяга*». Если бы я поговорил с гренадером о том, как он разрешает противоречие между Евангелием и воинским уставом, он бы сказал мне, что он присягал, т. е. клялся на Евангелии. Такие ответы давали мне все военные. Клятва эта так нужна для образования того страшного зла, которое производят насилия и войны, что во Франции, где отрицается христианство, все-таки держатся присяги. Ведь если бы Христос не сказал этого, не сказал — не присягайте никому, то он должен бы был сказать это. Он пришел уничтожить зло, а не уничтожить он присягу, какое огромное зло остается еще на свете. Может быть, скажут, что во времена Христа зло это было незаметно. Но это неправда: Эпиктет, Сенека говорили про то, чтобы не присягать никому; в законах Ману есть это правило. Отчего я скажу, что Христос не видал этого зла? И скажу тогда, когда он сказал это прямо, ясно и даже подробно.

Он сказал: *Я говорю: не клянись вовсе*. Выражение это так же просто, ясно и несомненно, как слова: не судите и не присуждайте, и так же мало подвержено перетолкованиям, тем более, что в конце прибавлено, что всё, что потребуется от тебя сверх ответа — *да и нет*, всё это — от начала зла.

Ведь если учение Христа в том, чтобы исполнять всегда волю бога, то как же может человек клясться, что он будет исполнять волю человека? Воля бога может не совпасть с волею человека. И даже в этом самом месте Христос это самое и говорит. Он говорит (ст. 36): не клянись головою, потому что не только голова твоя, но и каждый волос на ней во власти бога. То же говорится и в послании Иакова.

В послании своем, в конце его, как бы в заключение всего, апостол Иаков говорит (гл. V, ст. 12): *прежде же всего, братия мои, не клянитесь ни небом, ни землею, ни другою*

какою клятвою, но да будет у вас: да, да и нет, нет; дабы вам не подпасть осуждению. Апостол прямо говорит, почему не следует клясться: клятва сама по себе кажется не преступною, но от нее подпадают осуждению, и потому *не клянитесь никак*. Как еще яснее сказать то, что сказано и Христом и апостолом?

Но я был так запутан, что я с удивлением долго спрашивал себя: неужели это значит то, что значит? Как же мы все присягаем на Евангелии? Это не может быть.

Но я уже прочел толкования и видел, как это невозможное было сделано.

Что при объяснениях слов: не судите, не гневайтесь ни на кого, не разрывайте союз мужа с женою, то же и здесь. Мы установили свои порядки, любим их и хотим считать их священными. Приходит Христос, которого мы считаем богом, и говорит, что эти-то наши порядки нехороши. Мы его считаем богом и не хотим отказаться от наших порядков. Что же нам делать? Где можно, вставить слово — «*напрасно*» и на нет свести правило против гнева; где можно, как самые бессовестные кривосуды, так перетолковать смысл статьи закона, чтобы выходило обратное: вместо — никогда не разводиться с женою, вышло бы то, что можно разводиться. А где уж никак нельзя перетолковать, как в словах: *не судите и не присуждайте*, и в словах: *не клянитесь вовсе*, смело, прямо действовать противно учению, утверждая, что мы ему следуем. И в самом деле, главная помеха тому, чтобы понять то, что Евангелие запрещает всякую клятву и тем более присягу, есть то, что псевдо-христианские учителя с необычайной смелостью на самом на Евангелии, самым Евангелием заставляют клясться людей, т. е. делать противное Евангелию.

Как придет в голову человеку, которого заставляют клясться крестом и Евангелием, что крест оттого и свят, что на нем распяли того, кто запрещал клясться, и что присягающий, может быть, целует, как святыню, то самое место, где ясно и определенно сказано: *не клянитесь никак*.

Но меня уже не смущала эта смелость. Я ясно видел, что с ст. 33 по 37 была выражена ясная, определенная, исполнимая третья заповедь: не присягай никогда никому ни в чем. Всякая присяга вымогается от людей для зла.

Вслед за этой третьей заповедью приводится четвертая ссылка и излагается четвертая заповедь (Матф. V, 38—42; Лук. VI, 29, 30). «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним на одно поприще, иди с ним на два. Просящему у тебя дай и от хотящего занять у тебя не отвращайся».

О том, какое прямое, определенное значение имеют эти слова и как мы не имеем никакого основания перетолковывать их иносказательно, я говорил уже. Толкования этих слов, начиная от Иоанна Златоуста и до нас, поистине удивительны. Слова эти всем очень нравятся, и все делают, по случаю этих слов, всякого рода глубокомысленные соображения, за исключением одного: что слова эти имеют тот самый смысл, который они имеют. Церковные толкователи, нисколько не стесняясь авторитетом того, кого они признают богом, преспокойно ограничивают значение его слов. Они говорят: «Само собой разумеется, что все эти заповеди о терпении обид, об отречении от возмездия, как направленные собственно против иудейской любомстительности, не исключают не только общественных мер к ограничению зла и наказанию *делающих зло*, но и частных, личных усилий и забот каждого человека о ненарушимости правды, о вразумлении обидчиков, о прекращении для злонамеренных возможности вредить другим; ибо иначе самые духовные законы спасителя по-иудейски обратились бы только в букву, могущую послужить к успехам зла и подавлению добродетели. Любовь христианина должна быть подобна любви божией, но любовь божия ограничивает и *наказывает зло* только в той мере, в какой оно остается более или менее безвредным для славы божией и для спасения ближнего; в противном случае должно ограничивать и наказывать зло, что особенно возлагается на начальство» (Толковое Евангелие архим. Михаила, всё основанное на толковании святых отцов).

Ученые и свободномыслящие христиане также не стесняются смыслом слов Христа и

поправляют его. Они говорят, что это очень возвышенные изречения, но лишенные всякой возможности приложения к жизни, ибо приложение к жизни правила непротивления злу уничтожает весь тот порядок жизни, который мы так хорошо устроили: это говорит Ренан, Штраус и все вольнодумные толкователи.

Но стоит отнестись к словам Христа только так, как мы относимся к словам первого встречного человека, который с нами говорит, т. е. предполагая, что он говорит то, что говорит, чтобы тотчас же устранилась необходимость всяких глубокомысленных соображений. Христос говорит: я нахожу, что способ обеспечения вашей жизни очень глуп и дурен. Я вам предлагаю совсем другой, следующий. И он говорит свои слова от стиха тридцать восьмого по сорок второй. Казалось бы, что, прежде чем поправлять эти слова, надо понять их. А вот этого-то никто не хочет сделать, вперед решая, что порядок, в котором мы живем и который нарушается этими словами, есть священный закон человечества.

Я не считал нашу жизнь ни хорошою, ни священной, и потому понял эту заповедь прежде других. И когда я понял слова эти так, как они сказаны, меня поразила их истинность, точность и ясность. Христос говорит: вы злом хотите уничтожить зло. Это неразумно. Чтобы не было зла, не делайте зла. И потом Христос перечисляет все случаи, в которых мы привыкли делать зло, и говорит, что в этих случаях не надо его делать.

Эта четвертая заповедь была первая заповедь, которую я понял и которая открыла мне смысл всех остальных. Четвертая простая, ясная, исполнимая заповедь говорит: никогда силой не противься злumu, насилием не отвечай на насилие: бьют тебя — терпи, отнимают — отдай, заставляют работать — работай, хотят взять у тебя то, что ты считаешь своим — отдавай.

И вслед за этой четвертой заповедью следует пятая ссылка и пятая заповедь (Матф. V, 43—48). «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего (Левит XIX, 17, 18). А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами отца вашего небесного, ибо он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен отец ваш небесный».

Стихи эти прежде представлялись мне разъяснением, дополнением и усилением, скажу даже — преувеличением слов о непротивлении злу. Но, найдя простой, приложимый, определенный смысл каждого места, начинающегося с ссылки на древний закон, я предчувствовал такой же и в этом. После каждой ссылки была изложена заповедь, и каждый стих заповеди имел значение и не мог быть выкинут, и здесь должно было быть то же. Последние слова, повторенные у Луки о том, что бог не делает различия между людьми и дает благо всем, и что потому и вы должны быть таковы же, как бог: не делать различия между людьми и должны не так делать, как язычники, а должны всех любить и всем делать добро одинаково — эти слова были ясны, они представлялись мне подтверждением и объяснением какого-то ясного правила, но в чем было это правило — я долго не мог понять.

Любить врагов? Это было что-то невозможное. Это было одно из тех прекрасных выражений, на которые нельзя иначе смотреть, как на указание недостижимого нравственного идеала. Это было слишком много или ничего. Можно не вредить своему врагу, но любить — нельзя. Не мог Христос предписывать невозможное. Кроме того, в самых первых словах, в ссылке на закон древних: «вам сказано: *ненавидь врага*», было что-то сомнительное. В прежних местах Христос приводит действительные, подлинные слова закона Моисея; но здесь он приводит слова, которые никогда не были сказаны. Он как будто клеветает на закон.

Толкования, как и в прежних моих сомнениях, ничего не разъяснили мне. Во всех толкованиях признается, что слов: «вам сказано: *ненавидь врага*» — нет в законе Моисея, но объяснения этого неверно приведенного места из закона нигде не дается. Говорится о том,

как трудно любить врагов — злых людей, и большею частью делаются поправки к словам Христа; говорится, что нельзя любить врагов, а можно не желать и не делать им зла. Между прочим внушается, что можно и должно обличать, т. е. противиться врагам, говорится о разных степенях достижения этой добродетели, так что по толкованиям церкви конечный вывод тот, что Христос, неизвестно зачем, неправильно привел слова из закона Моисея и наговорил много прекрасных, но, собственно, пустых и неприложимых слов.

Мне казалось, что это не может быть так. Тут должен быть ясный и определенный смысл, такой же, как и в первых четырех заповедях. И для того, чтобы понять этот смысл, я прежде всего постарался понять значение слов неверной ссылки на закон: «вам сказано: *ненавидь врагов*». Недаром же Христос при каждом правиле приводит слова закона: не убей, не прелюбодействуй и т. д., и этим словам противопоставляет свое учение. Не поняв того, что он разумел под словами приводимого им закона, нельзя понять того, что он предписывает. В толкованиях же прямо говорится (да и нельзя этого не сказать), что он приводит такие слова, которых не было в законе, но не объясняется, почему он это делает и что значит эта неверная ссылка. Мне казалось, что прежде всего надо объяснить, что мог разуметь Христос, приводя слова, которых не было в законе. И я спросил себя: что же могут значить слова, неверно приведенные Христом из закона? Во всех прежних ссылках Христа на закон приводится только одно постановление древнего закона, как: не убей, не прелюбодействуй, держи клятвы, зуб за зуб..., и по случаю этого одного приводимого постановления излагается соответствующее ему учение. Здесь же приводятся два постановления, противопоставляющиеся друг другу: вам сказано — люби ближнего и ненавидь врага, так что, очевидно, основой нового закона должно быть самое различие между двумя постановлениями древнего закона относительно ближнего и врага. И чтобы понять яснее, в чем было это различие, я спросил себя: что значит слово «ближний» и слово «враг» на евангельском языке? И, справившись с лексиконами и контекстами Библии, я убедился, что ближний на языке еврея всегда означает только еврея. Такое определение ближнего дается и в Евангелии притчей о самарянине. По понятию еврея-законника, спрашивающего, кто ближний? — самарянин не мог быть ближним. Такое же определение ближнего дается и в Деяниях (VII, 27). Ближний на евангельском языке значит: земляк, человек, принадлежащий к одной народности. И потому, предполагая, что противоположение, которое выставляет Христос в этом месте, приводя слова закона: вам сказано: люби ближнего и ненавидь врага, состоит в противопоставлении между земляком и чужеземцем, спрашиваю себя, что такое враг по понятиям иудеев, и нахожу подтверждение своего предположения. Слово враг употребляется в Евангелиях почти всегда в смысле врагов не личных, но общих, народных (Лук. I, 71—74; Матф. XXII, 44; Марк. XII, 36; Лук. XX, 43 и др.). Единственное число, в котором употреблено слово враг в этих стихах в выражении *ненавидь врага*, показывает мне, что здесь идет речь о враге народа. Единственное число означает совокупность вражеского народа. В Ветхом Завете понятие вражеского народа всегда выражается единственным числом.

И как только я понял это, так тотчас же устранилось то затруднение: зачем и каким образом мог Христос, всякий раз приводя подлинные слова закона, здесь вдруг привести слова: вам сказано: *ненавидь врага*, которые не были сказаны. Стоит только понимать слово враг в смысле врага народного и ближнего — в смысле земляка, чтобы затруднения этого вовсе не было. Христос говорит о том, как по закону Моисея предписано евреям обращаться с врагом народным. Все те разбросанные по разным книгам писания места, в которых предписывается и угнетать, и убивать, и истреблять другие народы, Христос соединяет в одно выражение: ненавидеть — делать зло врагу. И он говорит: вам сказано, что надо любить своих и ненавидеть врага народного; а я говорю вам: надо любить всех без различия той народности, к которой они принадлежат. И как только я понял эти слова так, так тотчас устранилось и другое, главное затруднение: как понимать слова: любите врагов ваших. Нельзя любить личных врагов. Но людей вражеского народа можно любить точно так же, как и своих. И для меня стало очевидным, что, говоря: вам сказано: люби ближнего и

ненавидь врага, а я говорю: люби врагов, Христос говорит о том, что все люди приучены считать своими ближними людей своего народа, а чужие народы считать врагами, и что он не велит этого делать. Он говорит: по закону Моисея сделано различие между евреем и не евреем — врагом народным, а я говорю вам: не надо делать этого различия. И точно, и по Матфею и по Луке вслед за этим правилом он говорит, что для бога все равны, на всех светит одно солнце, на всех падает дождь; бог не делает различия между народами и всем делает равное добро; то же должны делать и люди для всех людей без различия их народностей, а не так, как *язычники*, разделяющие себя на разные народы.

Так что опять с разных сторон подтвердилось для меня простое, важное, ясное и приложимое понимание слов Христа. Опять вместо изречения туманного и неопределенного любомудрия выяснилось ясное, определенное и важное и исполнимое правило: не делать различия между своим и чужим народом и не делать всего того, что вытекает из этого различия: не враждовать с чужими народами, не воевать, не участвовать в войнах, не вооружаться для войны, а ко всем людям, какой бы они народности ни были, относиться так же, как мы относимся к своим.

Всё это было так просто, так ясно, что мне было удивительно, как мог я сразу не понять этого.

Причина моего непонимания была та же, что и причина непонимания запрещения судов и клятвы. Очень трудно понять, что те суды, которые открываются христианскими молебствиями, благословляются теми, которые считают себя блюстителями закона Христа, что эти-то самые суды несовместимы с исповеданием Христа и прямо противны ему. Еще труднее догадаться, что та самая клятва, к которой приводят всех людей блюстители закона Христа, прямо запрещена этим законом; но догадаться, что то, что в нашей жизни считается не только необходимым и естественным, но самым прекрасным и доблестным — любовь к отечеству, защита, возвеличение его, борьба с врагом и т. п., — суть не только преступления закона Христа, но явное отречение от него, — догадаться, что это так — ужасно трудно. Жизнь наша до такой степени удалилась от учения Христа, что самое удаление это становится теперь главной помехой понимания его. Мы так пропустили мимо ушей и забыли всё то, что он сказал нам о нашей жизни — о том, что не только убивать, но гневаться нельзя на другого человека, что нельзя защищаться, а надо подставлять щеку, что надо любить врагов, — что нам теперь, привыкшим называть людей, посветивших свою жизнь убийству, — христолюбивым воинством, привыкшим слушать молитвы, обращенные ко Христу о победе над врагами, славу и гордость свою полагающим в убийстве, в некоторого рода святыню возведшим символ убийства, шпагу, так что человек без этого символа, — без ножа, — это осрамленный человек, что нам теперь кажется, что Христос не запретил войны, что если бы он запрещал, он бы сказал это яснее.

Мы забываем то, что Христос никак не мог себе представить, что люди, верующие в его учение смирения, любви и всеобщего братства, спокойно и сознательно могли бы учреждать убийство братьев.

Христос не мог себе представить этого, и потому он не мог христианину запрещать войну, как не может отец, дающий наставление своему сыну о том, как надо жить честно, не обижая никого и отдавая свое другим, запрещать ему, как не надо резать людей на большой дороге.

То, чтобы нужно было христианину запрещать убийство, называемое войною, не мог себе представить и ни один апостол и ни один ученик Христа первых веков христианства. Вот что говорит, например, Ориген в своем ответе Цельсию (глава 63).

Он говорит: «Цельзий увещевает нас помогать всеми нашими силами государю, участвовать в его законных трудах, вооружаться за него, служить под его знаменами, если нужно — водить в сражениях его войска. На это надо ответить, что мы при случае подаем помощь царям, но так сказать, божественную помощь, потому что мы облечены броней бога. Этим поведением мы подчиняемся голосу апостола. «Умоляю вас прежде всего, — говорит он, — молиться, просить и благодарить за всех людей, за царей и за высоких в

почестях». Так что чем набожнее, тем полезнее бывает человек для царей; и польза его более действительна, чем польза солдата, который, завербовавшись под знамена царя, побивает столько врагов, сколько может. Кроме того, людям, которые, не зная нашей веры, требуют от нас того, чтобы мы резали людей, мы можем еще отвечать то, что и ваши жрецы не оскверняют своих рук, чтобы ваш бог принял их жертвы. То же и мы». И, кончая эту главу объяснением того, что христиане приносят пользу своею мирною жизнью более, чем солдаты, Ориген говорит: «Итак, мы воюем лучше, чем кто-нибудь, за спасение императора. Правда, *что мы не служим под его знаменами. Мы и не станем служить, если бы даже он принуждал нас к этому*».

Так относились к войне христиане первых веков и так говорили их учителя, обращаясь к сильным мира, и говорили так в то время, когда сотнями и тысячами гибли мученики за исповедание Христовой веры.

А теперь? Теперь и вопроса нет о том, может ли христианин участвовать в войнах. Все молодые люди, воспитываемые в церковном законе, называемом христианским, каждую осень, когда настанет срок, идут в воинские присутствия и с помощью церковных пастырей отрекаются от закона Христа. Только недавно нашелся один крестьянин, который на основании Евангелия отказался от военной службы. Учителя церкви внушали крестьянину его заблуждение; но так как крестьянин поверил не им, но Христу, то его посадили в тюрьму и продержали там до тех пор, пока он не отрекся от Христа. И всё это делается после того, как нам, христианам, 1800 лет тому назад объявлена нашим богом заповедь вполне ясная и определенная: «не считай людей других народов своими врагами, а считай всех людей братьями и ко всем относись так же, как ты относишься к людям своего народа, и потому не только не убивай тех, которых называешь своими врагами, но люби их и делай им добро».

И, поняв таким образом эти столь простые, определенные, не подверженные никаким перетолкованиям заповеди Христа, я спросил себя: что бы было, если бы весь христианский мир поверил в эти заповеди не в том смысле, что их нужно петь или читать для умилоствления бога, а что их нужно исполнять для счастья людей? Что бы было, если бы люди поверили обязательности этих заповедей хоть так же твердо, как они поверили тому, что надо каждый день молиться, каждое воскресенье ходить в церковь, каждую субботу есть постное и каждый год говеть? Что бы было, если бы люди поверили в эти заповеди хоть так же, как они верят в церковные требования? И я представил себе всё христианское общество, живущее и воспитывающее молодые поколения в этих заповедях. Я представил себе, что всем нам и нашим детям с детства словом и примером внушается не то, что внушается теперь: что человек должен соблюдать свое достоинство, отстаивать перед другими свои права (чего нельзя иначе делать, как унижая и оскорбляя других), а внушается то, что ни один человек не имеет никаких прав и не может быть ниже или выше другого; что ниже и позорнее всех только тот, который хочет стать выше других; что нет более унижительного для человека состояния, как состояние гнева против другого человека; что кажущееся мне ничтожество или безумие человека не может оправдать мой гнев против него и мой раздор с ним. Вместо всего устройства нашей жизни от витрин магазинов до театров, романов и женских нарядов, вызывающих плотскую похоть, я представил себе, что всем нам и нашим детям внушается словом и делом, что увеселение себя похотливыми книгами, театрами и балами есть самое подлое увеселение, что всякое действие, имеющее целью украшение тела или выставление его, есть самый низкий и отвратительный поступок. Вместо устройства нашей жизни, при котором считается необходимым и хорошим, чтобы молодой человек распутничал до женитьбы, вместо того, чтобы жизнь, разлучающую супругов, считать самой естественной, вместо узаконения сословия женщин, служащих разврату, вместо допускания и благословления развода, — вместо всего этого я представил себе, что нам делом и словом внушается, что одинокое безбрачное состояние человека, созревшего для половых сношений и не отрекшегося от них, есть уродство и позор, что покидание человеком той, с какой он сошелся, перемена ее для другой есть не только такой же неестественный поступок, как кровосмешение, но есть и жестокий, бесчеловечный поступок. Вместо того, чтобы вся жизнь

наша была установлена на насилии, чтобы каждая радость наша добывалась и ограждалась насилием; вместо того, чтобы каждый из нас был наказываемым или наказывающим с детства и до глубокой старости, я представил себе, что всем нам внушается словом и делом, что месть есть самое низкое животное чувство, что насилие есть не только позорный поступок, но поступок, лишаящий человека истинного счастья, что радость жизни есть только та, которую не нужно ограждать насилием, что высшее уважение заслуживает не тот, кто отнимает или удерживает свое от других и кому служат другие, а тот, кто больше отдает свое и больше служит другим. Вместо того, чтобы считать прекрасным и законным то, чтобы всякий присягал и отдавал всё, что у него есть самого драгоценного, т. е. всю свою жизнь, в волю сам не зная кого, я представил себе, что всем внушается то, что разумная воля человека есть та высшая святыня, которую человек никому не может отдать, и что обещаться с клятвой кому-нибудь в чем-нибудь есть отречение от своего разумного существа, есть поругание самой высшей святыни. Я представил себе, что вместо тех народных ненавистей, которые под видом любви к отечеству внушаются нам, вместо тех восхвалений убийства — войн, которые с детства представляются нам как самые доблестные поступки, я представил себе, что нам внушается ужас и презрение ко всем тем деятельности — государственным, дипломатическим, военным, которые служат разделению людей, что нам внушается то, что признание каких бы то ни было государств, особенных законов, границ, земель, есть признак самого дикого невежества, что воевать, т. е. убивать чужих, незнакомых людей без всякого повода есть самое ужасное злодейство, до которого может дойти только заблудший и развращенный человек, упавший до степени животного. Я представил себе, что все люди поверили в это, и спросил себя: что бы тогда было?

Прежде я спрашивал себя, что будет из исполнения учения Христа, как я понимал его, и невольно отвечал себе: ничего. Мы все будем молиться, пользоваться благодатью таинств, верить в искупление и спасение наше и всего мира Христом, и все-таки спасение это произойдет не от нас, а оттого, что придет время конца мира. Христос придет в свой срок во славе судить живых и мертвых, и установится царство бога независимо от нашей жизни. Теперь же учение Христа, как оно представилось мне, имело еще и другое значение; установление царства бога на земле зависело и от нас. Исполнение учения Христа, выраженного в пяти заповедях, устанавливало это царство божие. Царство бога на земле есть мир всех людей между собою. Мир между людьми есть высшее доступное на земле благо людей. Так представлялось царство бога всем пророкам еврейским. И так оно представлялось и представляется всякому сердцу человеческому. Все пророчества обещают мир людям.

Всё учение Христа состоит в том, чтобы дать царство бога — мир людям. В нагорной проповеди, в беседе с Никодимом, в послании учеников, во всех поучениях своих он говорит только о том, что разделяет людей и мешает им быть в мире и войти в царство бога. Все притчи суть только описание того, что есть царство бога и что, только любя братьев и будучи в мире с ними, можно войти в него. Иоанн Креститель, предшественник Христа, говорит, что приблизилось царство бога и что Иисус Христос дает его миру.

Христос говорит, что принес мир на землю (Иоан. XIV, 27). «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается».

И вот эти пять заповедей его действительно дают этот мир людям. Все пять заповедей имеют только одну эту цель — мира между людьми. Стоит людям поверить учению Христа и исполнять его, и мир будет на земле, и мир не такой, какой устраивается людьми, временный, случайный, но мир общий, ненарушимый, вечный.

Первая заповедь говорит: Будь в мире со всеми, не позволяй, себе считать другого человека ничтожным или безумным (Матф. V, 22). Если нарушен мир, то все силы употребляй на то, чтобы восстановить его. Служение богу есть уничтожение вражды (23—24). Мирись при малейшем раздоре, чтобы не потерять истинной жизни (26). В этой заповеди сказано всё; но Христос предвидит соблазны мира, нарушающие мир между людьми, и дает

вторую заповедь — против соблазна половых отношений, нарушающего мир. Не смотри на красоту плотскую как на потеху, вперед избегай этого соблазна (28—30); бери муж одну жену, и жена — одного мужа, и не покидайте друг друга ни под каким предлогом (32). Другой соблазн — это клятвы, вводящие людей в грех. Знай вперед, что это — зло, и не давай никаких обетов (34—37). Третий соблазн — это месть, называемая человеческим правосудием; не мсти и не отговаривайся тем, что тебя обидят, — неси обиды, а не делай зла за зло (38—42). Четвертый соблазн — это различие народов, вражда племен и государств. Знай, что все люди — братья и сыны одного бога, и не нарушай мира ни с кем во имя народных целей (43—48). Не исполнят люди одну из этих заповедей — мир будет нарушен. Исполнят люди все заповеди, и царство мира будет на земле. Заповеди эти исключают всё зло из жизни людей.

При исполнении этих заповедей жизнь людей будет то, чего ищет и желает всякое сердце человеческое. Все люди будут братья и всякий будет всегда в мире с другими, наслаждаясь всеми благами мира тот срок жизни, который уделен ему богом. Перекуют люди мечи на орала и копыя на серпы. Будет то царство бога, царство мира, которое обещали все пророки и которое близилось при Иоанне Крестителе, и которое возвещал и возвестил Христос, говоря словами Исаии: «Дух господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето господне благоприятное» (Лук. IV, 18—19; Исаии LXI, 1—2).

Заповеди мира, данные Христом, простые, ясные, предвидящие все случаи раздора и предотвращающие его, открывают это царство бога на земле. Стало быть, Христос точно мессия. Он исполнил обещанное. Мы только не исполняем того, чего вечно желали все люди, — того, о чем мы молились и молимся.

VII

Отчего же люди не делают того, что Христос сказал им и что дает им высшее доступное человеку благо, чего они вечно желали и желают? И со всех сторон я слышу один, разными словами выражаемый, один и тот же ответ: «Учение Христа очень хорошо, и правда, что при исполнении его установилось бы царство бога на земле, но оно трудно и потому неисполнимо».

Учение Христа о том, как должны жить люди, божественно, хорошо и дает благо людям, но людям трудно исполнять его. Мы так часто повторяем и слышим это, что нам не бросается в глаза то противоречие, которое находится в этих словах.

Человеческой природе свойственно делать то, что лучше. И всякое учение о жизни людей есть только учение о том, что лучше для людей. Если людям показано, что им лучше делать, то как же они могут говорить, что они желают делать то, что лучше, но не могут? Люди не могут делать только то, что хуже, а не могут не делать того, что лучше.

Разумная деятельность человека, с тех пор как есть человек, направлена к тому, чтобы найти, что лучше из тех противоречий, которыми наполнена жизнь и отдельного человека и всех людей вместе.

Люди дерутся за землю, за предметы, которые им нужны, и потом доходят до того, что делят всё и называют это собственностью; они находят, что хотя и трудно учредить это, но так лучше, и держатся собственности; люди дерутся за жен, бросают детей, потом находят, что лучше, чтобы у каждого была своя семья, и, хотя очень трудно питать семью, люди держатся собственности, семьи и многого другого. И как только люди нашли, что так лучше, то как бы это трудно ни было, так и делают. Что же такое значит, что мы говорим: учение Христа прекрасно, жизнь по учению Христа лучше, чем та, которою мы живем; но мы не можем жить так, чтобы было лучше, потому что это «трудно».

Если это слово: «трудно» понимать так, что трудно жертвовать мгновенным удовлетворением своей похоти большему благу, то почему же мы не говорим, что трудно

пахать, для того чтобы был хлеб, сажать яблони, чтобы были яблоки? То, что надо переносить трудности для достижения большего блага, это знает всякое существо, одаренное первым задатком разума. И вдруг оказывается, что мы говорим, что учение Христа прекрасно, но что оно неисполнимо, потому что трудно. Трудно же потому, что, следуя ему, мы должны лишаться того, чего мы прежде не лишались. Мы как будто никогда не слыхали того, что выгоднее иногда потерпеть и лишиться, чем ничего не терпеть и удовлетворять всегда свою похоть.

Человек может быть животным, и никто не станет упрекать его в том; но человек не может рассуждать о том, что он хочет быть животным. Как только он рассуждает, то он сознает себя разумным, и, сознавая себя разумным, он не может не признавать того, что разумно и того, что неразумно. Разум ничего не приказывает, он только освещает.

Я в темноте избил руки и колена, отыскивая дверь. Вошел человек со светом, и я увидел дверь. Я не могу уже биться в стену, когда я вижу дверь, и еще менее могу утверждать, что я вижу дверь, нахожу, что лучше пройти в дверь, но что это трудно, и потому я хочу продолжать биться коленками об стену.

В этом удивительном рассуждении: христианское учение хорошо и дает благо миру; но люди слабы, люди дурны и хотят лучше делать, а делают хуже, и потому не могут делать лучше, — есть очевидное недоразумение.

Тут, очевидно, не ошибка рассуждения, а что-нибудь другое.

Тут, должно быть, какое-нибудь ложное представление. Только ложное представление о том, что есть то, чего нет, и нет того, что есть, может привести людей к такому странному отрицанию исполнимости того, что, по их же признанию, дает им благо.

Ложное представление, приведшее к этому, есть то, что называется догматическою христианскою верой, — тою самою, которой с детства учат всех исповедующих церковную христианскую веру по разным православным, католическим и протестантским катехизисам.

Вера эта, по определению верующих же, есть признание существующим того, что кажется (это сказано у Павла и повторяется во всех богословиях и катехизисах как лучшее определение веры). И вот это-то признание существующим того, что кажется, и привело людей к такому странному утверждению того, что учение Христа хорошо для людей, но не годится для людей.

Учение этой веры в самом точном его выражении такое: личный бог, существующий вечно, один в трех лицах, вдруг вздумал сотворить мир духов. Бог благой сотворил этот мир духов для их блага; но случилось, что один из духов сделался сам злым и потому несчастным. Прошло много времени, и бог сотворил другой мир, вещественный, и человека тоже для его блага. Бог сотворил человека блаженным, бессмертным и безгрешным. Блаженство человека состояло в пользовании благом жизни без труда; бессмертие его состояло в том, что он всегда должен был так жить; безгрешность его состояла в том, что он не знал зла.

Человек этот в раю был соблазнен тем духом первого творения, который сам собою сделался злым, и человек с тех пор пал, и стали рождаться такие же падшие люди, и с тех пор люди стали работать, болеть, страдать, умирать, бороться телесно и духовно, т. е. воображаемый человек сделался действительным, таким, каким мы его знаем и которого не можем и не имеем права и основания вообразить себе иным. Состояние человека трудящегося, страдающего, избирающего добро и избегающего зла и умирающего, то, которое есть и помимо которого мы не можем себе ничего представить, по учению этой веры не есть настоящее положение человека, а есть несвойственное ему, случайное, временное положение.

Несмотря на то, что состояние это продолжалось для всех людей по этому учению от изгнания Адама из рая, т. е. от начала мира до рождения Христа, и точно так же продолжается и после для всех людей, верующие должны воображать, что это есть только случайное, временное состояние. По этому учению сын бога — сам бог, второе лицо троицы, послан богом на землю в образе человека затем, чтобы спасти людей от этого не

свойственного им случайного, временного состояния, снять с них все проклятия, наложенные на них тем же богом за грех Адама, и восстановить их в их прежнем естественном состоянии блаженства, т. е. безболезненности, бессмертия, безгрешности и праздности. Второе лицо троицы — Христос, по этому учению, тем, что люди его казнили, этим самым искупил грех Адама и прекратил это неестественное состояние человека, продолжавшееся от начала мира. И с тех пор человек, поверивший в Христа, стал опять таким же, каким он был в раю, т. е. бессмертным, неболеющим, безгрешным и праздным.

На той части осуществления искупления, вследствие которой после Христа земля для верующих уже стала рождать везде без труда, болезни прекратились и чада стали родиться у матерей без страданий, — учение это не очень останавливается, потому что тем, которым тяжело работать и больно страдать, как бы они ни верили, трудно внушить, что не трудно работать и не больно страдать. Но та часть учения, по которой смерти и греха уже нет, утверждается с особенной силой.

Утверждается, что мертвые продолжают быть живы. И так как мертвые никак не могут ни подтвердить того, что они умерли, ни того, что они живы, так же как камень не может подтвердить того, что он может или не может говорить, то это отсутствие отрицания применяется за доказательство и утверждается, что люди, которые умерли, не умерли. И еще с большей торжественностью и уверенностью утверждается то, что после Христа верую в него человек освобождается от греха, т. е. что человеку после Христа не нужно уже разумом освещать свою жизнь и избирать то, что для него лучше. Ему нужно верить только, что Христос искупил его от греха, и тогда он всегда безгрешен, т. е. совершенно хорош. По этому учению люди должны воображать, что в них разум бессилен и что потому-то они и безгрешны, т. е. не могут ошибаться.

Истинно верующий должен воображать, что со времени Христа земля родит без труда, дети рождаются без мук, болезней нет, смерти нет и греха, т. е. ошибок, нет, т. е. нет того, что есть, и что есть то, чего нет.

Так говорит строго логическая богословская теория.

Учение это само по себе кажется невинно. Но отступление от истины никогда не бывает невинно и влечет за собой свои последствия, тем более значительные, чем значительнее тот предмет, о котором говорится неправда. Здесь же предмет, о котором говорится неправда, есть вся жизнь человеческая.

То, что по этому учению называется истинною жизнью, есть жизнь личная, блаженная, безгрешная и вечная, т. е. такая, какую никто никогда не знал и которой нет. Жизнь же та, которая есть, которую мы одну знаем, которою мы живем и которою жило и живет всё человечество, есть по этому учению жизнь падшая, дурная, есть только образчик той хорошей жизни, которая нам следует.

Та борьба между стремлением к жизни животной и жизни разумной, которая лежит в душе каждого человека и составляет сущность жизни каждого, по этому учению совершенно устраняется. Борьба эта переносится в событие, совершившееся в раю с Адамом при сотворении мира. И вопрос о том: есть ли мне или не есть те яблоки, которые соблазняют меня? — не существует для человека по этому учению. Вопрос этот раз навсегда решен Адамом в раю в отрицательном смысле. Адам за меня согрешил, т. е. ошибся, и все люди, все мы безвозвратно пали, и все наши усилия жить разумно бесполезны и даже безбожны. Я дурен непоправимо, и должен знать это. И спасение мое не в том, что я разумом могу осветить свою жизнь и, узнав хорошее и дурное, делать то, что лучше. Нет, Адам раз навсегда за меня сделал дурно, и Христос раз навсегда поправил это дурное, сделанное Адамом, и потому я должен, как зритель, сокрушаться о падении Адама и радоваться о спасении Христом.

Вся же та любовь к добру и истине, которая лежит в душе человека, все усилия его осветить разумом явления жизни, вся моя духовная жизнь — всё это не только не важно по этому учению, но это есть прелесть или гордость.

Жизнь, какая есть здесь, на земле, со всеми ее радостями, красотами, со всею борьбой

разума против тьмы, — жизнь всех людей, живших до меня, вся моя жизнь с моей внутренней борьбой и победами разума есть жизнь не истинная, а жизнь павшая, безнадежно испорченная; жизнь же истинная, безгрешная — в вере, т. е. в воображении, т. е. в сумасшествии.

Пусть человек, отрешившись от привычки, взятой с детства, допускать всё это, постарается взглянуть просто, прямо на это учение, пусть он перенесется мыслью в свежего человека, воспитанного вне этого учения, и представит себе, каким покажется это учение такому человеку? Ведь это полное сумасшествие.

И как ни странно и ни страшно это думать, я не мог не признать этого, потому что это одно объясняло мне то удивительное, противоречивое, бессмысленное возражение, которое я слышу со всех сторон против исполнимости учения Христа: *оно хорошо и дает счастье людям, но люди не могут исполнить его*.

Только представление существующим того, что не существует, и несуществующим того, что существует, могло привести к этому удивительному противоречию. И такое ложное представление я нашел в проповедуемой 1500 лет псевдо-христианской вере.

Но возражение против учения Христа о том, что оно хорошо, но неисполнимо, делают не одни верующие, его делают и неверующие, такие люди, которые не верят или думают, что не верят в догмат грехопадения и искупления. Возражение против учения Христа, состоящее в его неисполнимости, делают люди науки, философы, вообще люди образованные и считающие себя совершенно свободными от всяких суеверий. Они не верят или думают, что не верят ни во что, и потому считают себя свободными от суеверия грехопадения и искупления. И мне так казалось это сначала. Мне тоже казалось, что эти ученые люди имеют другие основания для отрицания исполнимости учения Христа. Но, вникнув глубже в основы их отрицания, я убедился, что у неверующих то же ложное представление о том, что наша жизнь не есть то, что есть, а то, что им кажется, и что представление это зиждется на той же основе, как и представление верующих. Признающие себя неверующими, правда, не веруют ни в бога, ни в Христа, ни в Адама; но в основное ложное представление о правах человека на блаженную жизнь, на котором зиждется всё, в него они веруют так же и еще тверже, чем богословы.

Как ни храбрись привилегированная наука с философией, уверяя, что она решительница и руководительница умов, — она не руководительница, а слуга. Мирозерцание всегда дано ей готовое религией, и наука только работает на пути, указанном ей религией. Религия открывает смысл жизни людей, а наука прилагает этот смысл к различным сторонам жизни. И потому, если религия дает ложный смысл жизни, то наука, воспитанная в этом религиозном мирозерцании, будет с разных сторон прикладывать этот ложный смысл к жизни людей. Вот это-то и случилось с нашей европейско-христианской наукой и философией.

Церковное учение дало основной смысл жизни людей в том, что человек имеет право на блаженную жизнь и что блаженство это достигается не усилиями человека, а чем-то внешним, и это мирозерцание и стало основой всей нашей науки и философии.

Религия, наука, общественное мнение, все в один голос говорят, что дурна та жизнь, которую мы ведем, но что учение о том, как самим стараться быть лучше и этим сделать и самую жизнь лучше, — учение это неисполнимо.

Учение Христа в смысле улучшения жизни людей своими разумными силами неисполнимо потому, что Адам пал и мир лежит во зле, — говорит религия.

Учение это неисполнимо потому, что жизнь человеческая совершается по известным, не зависимым от воли человека законам, — говорит наша философия. Философия и вся наука, только другими словами, говорит совершенно то же, что говорит религия догматом первородного греха и искупления.

В учении искупления два основные положения, на которые всё опирается: 1) законная жизнь человеческая есть жизнь блаженная, жизнь же мирская здесь есть жизнь дурная, не поправимая усилиями человека, и 2) спасение от этой жизни — в вере.

Эти два положения стали основой мирозерцания и верующих и неверующих нашего псевдо-христианского общества. Из второго положения вытекла церковь с ее учреждениями. Из первого вытекает наше общественное мнение и наши философские и политические теории.

Все философские и политические теории, оправдывающие существующий порядок, гегельянство и его дети зиждутся на этом положении. Пессимизм, требующий от жизни того, что она не может дать, и потому отрицающий жизнь, вытекает из него же.

Материализм с его удивительным восторженным утверждением, что человек есть процесс и больше ничего, есть законное детище этого учения, признавшего, что жизнь здешняя есть жизнь падшая. Спиритизм с его учеными последователями есть лучшее доказательство того, что научное и философское воззрение не свободно, а основано на религиозном учении о блаженной вечной жизни, свойственной человеку.

Извращение смысла жизни извратило всю разумную деятельность человека. Догмат падения и искупления человека заслонил от людей самую важную и законную область деятельности человека и исключил из всей области знания человеческого знание того, что должен делать человек для того, чтобы ему самому быть счастливее и лучше. Наука и философия, воображая, что они действуют враждебно псевдо-христианству, гордясь этим, только работают на него. Наука и философия трактуют обо всем, о чем хотите, но только не о том, как человеку самому быть и жить лучше. То, что называется этикой — нравственным учением, совершенно исчезло в нашем псевдо-христианском обществе.

И верующие и неверующие одинаково не спрашивают себя о том, как надо жить и как употребить тот разум, который дан нам, а спрашивают себя: отчего жизнь наша людская не такая, какою мы себе ее вообразили, и когда она сделается такою, какою нам хочется?

Только благодаря этому ложному учению, всосавшемуся в плоть и кровь наших поколений, могло случиться то удивительное явление, что человек точно выплюнул то яблоко познания добра и зла, которое он, по преданию, съел в раю, и, забыв то, что вся история человека только в том, чтобы разрешать противоречия разумной и животной природы, стал употреблять свой разум на то, чтобы находить законы исторические одной своей животной природы.

Религиозные и философские учения всех народов, за исключением философских учений псевдо-христианского мира, все, которые мы знаем: иудаизм, конфуцианство, буддизм, браманизм, греческая мудрость, — все учения имеют целью устройство жизни людской и уяснение людям того, как каждый должен стремиться к тому, чтобы быть и жить лучше. Всё конфуцианство — в личном совершенствовании, иудаизм — в личном следовании каждому завету с богом, буддизм — в учении о том, как каждому спастись от зла жизни. Сократ учил личному совершенствованию во имя разума, стоики разумную свободу признают единой основой истинной жизни.

Вся разумная деятельность человека не могла не быть и всегда была в одном — в освещении разумом стремления к благу. Свобода воли, — говорит наша философия, — есть иллюзия, и очень гордится смелостью этого утверждения. Но свобода воли есть не только иллюзия — это есть слово, не имеющее никакого значения. Это — слово, выдуманное богословами и криминалистами, и опровергать это слово — бороться с мельницами. Но разум, тот, который освещает нашу жизнь и заставляет нас изменять наши поступки, есть не иллюзия, и его-то уж никак нельзя отрицать. Следование разуму для достижения блага — в этом было всегда учение всех истинных учителей человечества, и в этом всё учение Христа, и его-то, т. е. разум, отрицать разумом уже никак нельзя.

Учение Христа есть учение о сыне человеческом, общем всем людям, т. е. об общем всем людям стремлении к благу и об общем всем людям разуме, освещающем человека в этом стремлении. (Доказывать, что сын человеческий значит сын человеческий, совершенно излишне. Для того, чтобы под сыном человеческим разуметь что-нибудь другое, чем то, что значат слова, надо доказать то, что Христос умышленно употреблял для обозначения того, что он хотел сказать, слова, имеющие совсем другое значение. Но если даже, как это хочет

церковь, сын человеческий значит сын божий, то и тогда сын человеческий значит тоже человек по своей сущности, потому что сынами божьими Христос называет всех людей.)

Учение Христа о сыне человеческом — сыне бога, составляющее основу всех Евангелий, яснее всего выражено в его беседе с Никодимом. «Каждый человек, — говорит он, — кроме сознания своей плотской личной жизни, происшедшей от мужского отца в утробе плотской матери, не может не сознавать свое рождение свыше (Иоан. III, 5, 6, 7). То, что человек сознает в себе свободным, — это-то и есть то, что рождено от бесконечного, от того, что мы называем богом (11—13). Это-то рождение от бога, этого сына бога в человеке, мы должны возвысить в себе для того, чтобы получить жизнь истинную (14—17). Сын человеческий есть сын бога однородный (а не едиnorodный). Тот, кто возвысит в себе этого сына бога над всем остальным, кто поверит, что жизнь только в нем, тот не будет в разделении с жизнью. Разделение с жизнью происходит только от того, что люди не верят в свет, который есть в них» (18—21). (Тот свет, о котором сказано в Евангелии Иоанна, что в нем жизнь и что жизнь есть свет людей.)

Христос учит тому, чтобы над всем возвысить сына человеческого, который есть сын бога и свет людей. Он говорит: «Когда возвысите (вознесете, возвеличите) сына человеческого, вы узнаете, что я ничего не говорю от себя лично» (Иоан. XII, 32, 44, 49). Евреи не понимают его учения и спрашивают: кто этот сын человеческий, которого надо возвысить? (Иоан. XII, 34). И на этот вопрос он отвечает (Иоан. XII, 35): «Еще на малое время свет *в вас*⁵ есть. Ходите, пока есть свет, чтобы тьма не объяла вас. Тот, кто ходит во тьме, не знает, куда идет». На вопрос, что значит: возвысить сына человеческого, Христос отвечает: жить в том свете, который есть в людях.

Сын человеческий, по ответу Христа, — это свет, в котором люди должны ходить, пока есть свет в них.

Луки XI, 35. Смотри, не сделался ли *свет*, находящийся в тебе, тьмою?

Матф. VI, 23. Если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? — говорит он, поучая всех людей.

Прежде и после Христа люди говорили то же самое: то, что в человеке живет божественный свет, сошедший с неба, и свет этот есть разум, — и что ему одному надо служить и в нем одном искать благо. Это говорили и учителя браминов, и пророки еврейские, и Конфуций, и Сократ, и Марк Аврелий, и Эпиктет, и все истинные мудрецы, не составители философских теорий, а те люди, которые искали истины для блага своего и всех людей.⁶

И вдруг мы по догмату искупления признали, что об этом-то свете в человеке говорить и думать вовсе и не нужно. Надо думать, говорят верующие, о том, какое естество у какого лица троицы, какие таинства надо и не надо совершать; потому что спасение людей произойдет не от наших усилий, а от троицы и от правильного совершения таинств. Надо думать, говорят неверующие, о том, по каким законам совершает движения бесконечно малая частица материи в бесконечном пространстве в бесконечное время; но о том, чего для

⁵ Во всех церковных переводах в этом месте сделан умышленно ложный перевод: вместо слов *в вас*, ἐν ὑμῖν, везде, где встречаются эти слова, стоит: *с вами*.

⁶ Марк Аврелий говорит: «Почитай то, что могущественнее всего в мире, то, что пользуется всем и всем управляет. Почитай тоже то, что могущественно в тебе. Оно подобно первому, потому что оно пользуется тем, что есть в тебе, управляет твоей жизнью».

Эпиктет говорит: «Бог посеял семя свое не только в моего отца и деда, но и во все существа, живущие на земле, в особенности в разумные, потому что они одни входят в сношения с богом через разум, которым они соединены с ним».

В книге Конфуция сказано: «Закон великой науки в том, чтобы развивать и восстанавливать начало света разума, которое мы получили с неба». Это положение повторяется несколько раз и служит основой учения Конфуция.

его блага требует разум человека, об этом думать не надо, потому что улучшение состояния человека произойдет не от него, а от общих законов, которые мы откроем.

Я убежден, что через несколько веков история так называемой научной деятельности наших прославляемых последних веков европейского человечества будет составлять неистощимый предмет смеха и жалости будущих поколений. Несколько веков ученые люди западной малой части большого материка находились в повальном сумасшествии, воображая, что им принадлежит вечная блаженная жизнь, и занимались всякого рода элукубрациями о том, как, по каким законам наступит для них эта жизнь, сами же ничего не делали и не думали никогда ничего о том, как сделать эту свою жизнь лучше. И что будет представляться еще трогательнее будущему историку — это то, что он найдет, что у людей этих был учитель, ясно, определенно указавший им, что им должно делать, чтобы жить счастливее, и что слова этого учителя были объяснены одними так, что он на облаках придет всё устроить, а другими так, что слова этого учителя прекрасны, но неисполнимы, потому что жизнь человеческая не такая, какую бы мы хотели, и потому не стоит ею заниматься, а разум человеческий должен быть направлен на изучение законов этой жизни без всякого отношения к благу человека.

Церковь говорит: учение Христа неисполнимо потому, что жизнь здешняя есть образчик жизни настоящей; она хороша быть не может, она вся есть зло. Наилучшее средство прожить эту жизнь состоит в том, чтобы презирать ее и жить верою (т. е. воображением) в жизнь будущую, блаженную, вечную; а здесь жить — как живется, и молиться.

Философия, наука, общественное мнение говорят: учение Христа неисполнимо потому, что жизнь человека зависит не от того света разума, которым он может осветить самую эту жизнь, а от общих законов, и потому не надо освещать эту жизнь разумом и жить согласно с ним, а надо жить, как живется, твердо веруя, что по законам прогресса исторического, социологического и других после того, как мы очень долго будем жить дурно, наша жизнь сделается сама собой очень хорошей.

Приходят люди во двор, находят в этом дворе всё, что нужно для их жизни: дом со всею утварью, амбары, полные хлебом, погреба, подвалы со всеми запасами; на дворе — орудия земледельческие, снасть, сбруя, лошади, коровы, овцы, полное хозяйство — всё, что нужно для довольной жизни. Люди с разных сторон приходят в этот двор и начинают пользоваться всем тем, что они находят тут, каждый только для себя, не думая ничего оставлять ни тем, которые теперь с ними в доме, ни тем, которые придут после. Каждый хочет всё для себя. Каждый торопится воспользоваться чем может, и начинается истребление всего — борьба, драка за предметы обладания: корову молочную, нестриженных котных овец бьют на мясо; станками и телегами топят печи, дерутся за молоко, за зерно, проливают и просыпают и губят больше, чем пользуются. Никто спокойно не съест куса, ест и огрызается; приходит сильнейший и отнимает, а у того отнимает другой.

Намучившись, избитые, голодные люди уходят из двора. Опять хозяин приготовляет всё во дворе так, чтобы люди могли спокойно жить в нем. Опять двор — полная чаша, опять приходят прохожие, и опять свалка, драка, всё идет тунью, и опять измученные, избитые и озлобленные люди выходят вон, ругаясь и злобясь и на товарищей, и на хозяина, что он плохо и мало заготовил. Опять добрый хозяин учреждает двор так, чтобы могли жить в нем люди, и опять то же, и опять, и опять, и опять. И вот в один из новых приходов людей находится учитель, который говорит другим: братцы! мы не то делаем. Смотрите, сколько добра во дворе, как всё хозяйственно устроено! На всех нас хватит и останется тем, которые после нас придут, только давайте с умом жить. Не будем друг у дружки отнимать, а будем помогать друг другу. Станем сеять, пахать, скотину водить, и всем хорошо будет жить. И вот случилось, что кое-кто понял, что говорил учитель, и стали эти понявшие так делать: перестали драться, отнимать друг у дружки и стали работать. Но остальные, которые и не слышали речей учителя, а которые и слышали, да не верили им, не делали по словам человека, а попрежнему дрались и губили хозяйское добро и уходили. Приходили другие, и

было то же самое. Те, которые послушали учителя, говорили всё свое: не деритесь, не губите хозяйское добро, вам лучше будет. Делайте, как сказал учитель. Но всё еще было много таких, которые не слыхали и не верили, и дело шло долго всё по-старому. Всё это понятно и так точно могло быть, пока люди не верили тому, что говорил учитель. Но вот, рассказывают, что пришло время, все услышали во дворе слова учителя, все поняли их, все, мало что поняли, все признали, что это сам бог говорит через учителя, что и учитель-то был сам бог, и все поверили, как в святыню, в каждое слово учителя. Но рассказывают, что будто после этого, вместо того чтобы всем жить по словам учителя, вышло то, что после этого уж никто не стал удерживаться от свалки, и пошли все бузовать друг друга, и стали все говорить, что теперь-то мы верно знаем, что так надо и что иначе нельзя.

Что же это такое значит? Ведь скотина — и та сладится, как ей так корм есть, чтобы не сбивать его дуром, а люди узнали, как надо лучше жить, поверили, что сам бог им велел так жить, и живут еще хуже, потому что, говорят, нельзя жить иначе. Что-нибудь другое вообразили себе эти люди. Ну, что же могли вообразить себе эти люди во дворе, чтобы, поверив словам учителя, продолжать жизнь попрежнему, отнимать друг у друга, драться, губить добро и себя? А вот что: учитель сказал им: ваша жизнь в этом дворе дурная, живите лучше, и ваша жизнь будет хорошая, а они вообразили, что учитель осудил всю жизнь в этом дворе и обещал им другую, хорошую жизнь не на этом дворе, а где-то в другом месте. И они решили, что этот двор *постоялый* и что не стоит стараться жить в нем хорошо, а что надо только заботиться о том, как бы не прозевать ту обещанную хорошую жизнь в другом месте. Только этим можно объяснить странное поведение во дворе тех людей, которые верят, что учитель был бог, и тех, которые считают его умным человеком и слова его справедливыми, но продолжают жить по-старому, противно советам учителя.

Люди всё слышали, всё поняли, но только пропустили мимо ушей то, что учитель говорил только о том, что людям надо делать свое счастье самим здесь, на том дворе, на котором они сошлись, а вообразили себе, что это двор *постоялый*, а там где-то будет настоящий. И вот от этого вышло то удивительное рассуждение, что слова учителя очень прекрасны и даже слова бога, но исполнять их теперь трудно.

Только бы люди перестали себя губить и ожидать, что кто-то придет и поможет им: Христос на облаках с трубным гласом, или исторический закон, или закон дифференциации и интеграции сил. Никто не поможет, коли сами не помогут. А самим и помогать нечего. Только не ждать ничего ни с неба, ни с земли, а самим перестать губить себя.

VIII

Но положим, что учение Христа дает блаженство миру, положим, что оно разумно, и человек на основании разума не имеет права отречься от него; но что делать одному среди мира людей, не исполняющих закон Христа? Если бы все люди вдруг согласились исполнять учение Христа, тогда бы исполнение его было возможно. Но нельзя идти одному человеку против всего мира. «Если я один среди мира людей, не исполняющих учение Христа, — говорят обыкновенно, — стану исполнять его, буду отдавать то, что имею, буду подставлять щеку, не защищаясь, буду даже не соглашаться на то, чтобы идти присягать и воевать, меня оберут, и если я не умру с голода, меня избыют до смерти, и если не избыют, то посадят в тюрьму или расстреляют, и я напрасно погублю всё счастье своей жизни и всю свою жизнь».

Возражение это основано на том же недоразумении, на котором основывается и возражение о неисполнимости учения Христа.

Так говорят обыкновенно и так думал и я, пока не освободился вполне от церковного учения, и потому не понимал учения Христа о жизни во всем его значении.

Христос предлагает свое учение о жизни как спасение от той губительной жизни, которою живут люди, не следуя его учению, и вдруг я говорю, что я бы и рад последовать его учению, да мне жалко погубить свою жизнь. Христос учит спасению от погубительной жизни, а я жалею эту погубительную жизнь. Стало быть, я считаю эту свою жизнь вовсе не

погибельной, считаю эту жизнь чем-то действительным, мне принадлежащим и хорошим. В этом-то признании своей этой мирской, личной жизни за что-то действительное, мне принадлежащее и лежит недоразумение, препятствующее пониманию учения Христа. Христос знает это заблуждение людей, по которому они эту свою личную жизнь считают за что-то действительное и себе принадлежащее, и целым рядом проповедей и притч показывает им, что у них нет никаких прав на жизнь, нет никакой жизни до тех пор, пока они не приобретут истинной жизни, отрекшись от призрака жизни, того, что они называют своей жизнью.

Для того чтобы понять учение Христа о спасении жизни, надо прежде всего понять то, что говорили все пророки, что говорил Соломон, что говорил Будда, что говорили все мудрецы мира о личной жизни человека. Можно, по выражению Паскаля, не думать об этом, нести перед собой ширмочки, которые бы скрывали от взгляда ту пропасть смерти, к которой мы все бежим; но стоит подумать о том, что такое одинокая личная жизнь человека, чтобы убедиться в том, что вся жизнь эта, если она есть только личная жизнь, не имеет для каждого отдельного человека не только никакого смысла, но что она есть злая насмешка над сердцем, над разумом человека и над всем тем, что есть хорошего в человеке. И потому, чтобы понять учение Христа, надо прежде всего опомниться, одуматься, надо, чтобы в нас совершилась *μετάνοια*, то самое, что, проповедуя свое учение, говорит предшественник Христа — Иоанн таким же, как мы, запутанным людям. Он говорил: «Прежде всего покайтесь, т. е. одумайтесь, а то все погибнете». Он говорил: «Топор уже лежит подле дерева, чтобы срубить его. Смерть и гибель тут, подле каждого. Не забывайте этого, одумайтесь». И Христос, начиная свою проповедь, говорит то же: «Одумайтесь, а то все погибнете».

Луки XIII, 1—5. Христу рассказали о гибели галилеян, убитых Пилатом. И он говорит: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам; но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам; но если не покаетесь, все так же погибнете».

Если бы он жил в наше время в России, он сказал бы: разве вы думаете, что сгоревшие в бердичевском цирке или погибшие на кукуевской насыпи были виновнее других? — все так же погибнете, если не одумаетесь, если не найдете в своей жизни того, что не погибает. Смерть задавленных башней, сгоревших в цирке ужасает вас, но ведь ваша смерть, столь же ужасная и столь же неизбежная, стоит также перед вами. И вы напрасно стараетесь забыть ее. Когда она придет неожиданная, она будет еще ужаснее.

Он говорит (Луки XII, 54—57): «Когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет; и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: зной будет; и бывает. Лицемеры! лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно?»

Ведь вы по приметам узнаете вперед погоду, как же вы не видите, что с вами быть должно? Убегай от опасности, оберегай свою жизнь, сколько хочешь, и все-таки не Пилат убьет, так башня задавит, а не Пилат и не башня, то умрешь в постели в страданиях еще злейших.

Сделайте простой расчет, как делают люди мирские, когда они что-нибудь затевают: башню строят, или идут на войну, или завод строят. Они затевают и трудятся над тем, что должно иметь разумный конец.

Луки XIV, 28—31. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить? Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами противостать идущему на него с двадцатью тысячами?»

Разве не бессмысленно трудиться над тем, что, сколько бы ты ни старался, никогда не будет закончено? Всегда смерть придет раньше, чем будет окончена башня твоего мирского

счастья. И если ты вперед знаешь, что, сколько ни борись со смертью, не ты, а она поборет тебя, так не лучше ли уж и не бороться с нею и не класть свою душу в то, что погибает наверно, а поискать такого дела, которое не разрушилось бы неизбежною смертью.

Луки XII, 22—27. И сказал ученикам своим: «Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться: душа больше пищи и тело — одежды. Посмотрите на воронов: они не сеют, не жнут; нет у них ни хранилищ, ни житниц, и бог питает их; сколько же вы лучше их? Да кто же из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут: не трудятся, не прядут; но, говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них».

Сколько ни заботьтесь о теле и пище, никто не может прибавить себе жизни на один час.⁷ Так разве не бессмысленно заботиться о том, чего вы не можете сделать?

Вы знаете очень хорошо, что жизнь наша кончится смертью, а вы заботитесь о том, чтобы обеспечить свою жизнь имением. Жизнь не может обеспечить имением. Поймите, что это смешной обман, которым вы сами себя обманываете.

Не может быть смысл жизни, говорит Христос, в том, чем мы владеем и что мы приобретаем, то, что не мы сами; он должен быть в чем-нибудь ином.

Он говорит (Луки XII, 15—21): «Жизнь человека при всем избытке его не зависит от его имения. У одного богатого человека, — говорит он, — был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собой: что мне делать? некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю бóльшие, и сберу туда весь хлеб мой и всё добро мое. И скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы; покойся, ешь, пей, веселись. Но бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в бога богатеет».

Смерть всегда, всякое мгновение стоит над вами. И потому (Луки XII, 35, 36, 38, 39, 40): «Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, придет сын человеческий».

Притча о девах, ожидающих жениха, завершение века и страшный суд, — все эти места, по мнению всех толкователей, кроме другого значения конца мира, имеют значение: всегда, всякий час предстоящей человеку смерти.

Смерть, смерть, смерть каждую секунду ждет вас. Жизнь ваша всегда совершается в виду смерти. Если вы трудитесь лично для себя в будущем, то вы сами знаете, что в будущем для вас одно — смерть. И эта смерть разрушает всё то, для чего вы трудились. Стало быть, жизнь для себя не может иметь никакого смысла. Если есть жизнь разумная, то она должна быть какая-нибудь другая, т. е. такая, цель которой не в жизни для себя в будущем. Чтобы жить разумно, надо жить так, чтобы смерть не могла разрушить жизни.

Луки X, 41. «Марфа! Марфа! хлопчешь и заботишься о многом, а одно только нужно».

Все те бесчисленные дела, которые мы делаем для себя в будущем, не нужны для нас; всё это обман, которым мы сами обманываем себя. Нужно только одно.

Со дня рождения положение человека таково, что его ждет неизбежная гибель, т. е. бессмысленная жизнь и бессмысленная смерть, если он не найдет этого, чего-то одного, которое нужно для истинной жизни. Это-то одно, дающее истинную жизнь, Христос и открывает людям. Он не выдумывает это, не обещает дать это по своей божеской власти; он

⁷ Слова эти неверно переведены: слово ἡλικία — возраст, время жизни. И потому всё выражение значит: не можете прибавить часу жизни.

только показывает людям, что вместе с той личной жизнью, которая есть несомненный обман, должно быть то, что есть истина, а не обман.

Притчей о виноградарях (Матф. XXI, 33—42) Христос разъясняет этот источник заблуждения людей, скрывающего от них эту истину и заставляющего их принимать призрак жизни, свою личную жизнь, за жизнь истинную.

Люди, живя в хозяйском обработанном саду, вообразили себя, что они собственники этого сада. И из этого ложного представления вытекает ряд безумных и жестоких поступков этих людей, кончающийся их изгнанием, исключением из жизни; точно так же мы вообразили себе, что жизнь каждого из нас есть наша личная собственность, что мы имеем право на нее и можем пользоваться ею, как хотим, ни перед кем не имея никаких обязательств. И для нас, вообразивших себе это, неизбежен такой же ряд безумных и жестоких поступков и несчастий; и такое же исключение из жизни. И как виноградарям кажется, что чем злее они будут, тем лучше обеспечат себя, — убьют послов и хозяйского сына, — так и нам кажется, что чем злее мы будем, тем будем обеспеченнее.

Как неизбежно кончается с виноградарями тем, что их, никому не дающих плодов сада, изгоняет хозяин, так точно кончается и с людьми, вообразившими себе, что жизнь личная есть настоящая жизнь. Смерть изгоняет их из жизни, заменяя их новыми; но не за наказание, а только потому, что люди эти не поняли жизни. Как обитатели сада или забыли, или не хотят знать того, что им передан сад окопанный, огороженный, с вырытым колодцем и что кто-нибудь да поработал на них и потому ждет и от них работы; так точно и люди, живущие личной жизнью, забыли или хотят забыть всё то, что сделано для них прежде их рождения и делается во всё время их жизни, и что поэтому ожидается от них; они хотят забыть то, что все блага жизни, которыми они пользуются, даны и даются и потому должны быть передаваемы или отдаваемы.

Эта поправка взгляда на жизнь, эта *μετάνοια* есть краеугольный камень учения Христа, как он и сказал в конце этой притчи. По учению Христа, как виноградарь, живя в саду, не ими обработанном, должны понимать и чувствовать, что они в неоплатном долгу перед хозяином, так точно и люди должны понимать и чувствовать, что, со дня рождения и до смерти, они всегда в неоплатном долгу перед кем-то, перед жившими до них и теперь живущими и имеющими жить, и перед тем, что было и есть и будет началом всего. Они должны понимать, что всяким часом своей жизни, во время которой они не прекращают этой жизни, они утверждают это обязательство, и что потому человек, живущий для себя и отрицающий это обязательство, связывающее его с жизнью и началом ее, сам лишает себя жизни, должен понимать, что, живя так, он, желая сохранить свою жизнь, губит ее, — то самое, что много раз повторяет Христос.

Жизнь истинная есть только та, которая продолжает жизнь прошедшую, содействует благу жизни современной и благу жизни будущей.

Чтобы быть участником в этой жизни, человек должен отречься от своей воли для исполнения воли отца жизни, давшего ее сыну человеческому.

Иоанна VIII, 35. Раб, делающий свою волю, а не волю хозяина, не живет вечно в доме хозяина; только сын, исполняющий волю отца, только тот живет вечно, — говорит Христос ту же мысль в другом смысле.

Воля же отца жизни есть жизнь не отдельного человека, а единого сына человеческого, живущего в людях, и потому человек сохраняет жизнь только тогда, когда он на жизнь свою смотрит как на залог, как на талант, данный ему отцом для того, чтобы служить жизни всех, когда он живет не для себя, а для сына человеческого.

Матф. XXV, 14—46. Хозяин дал рабам своим каждому по части имения своего и, ничего не сказав им, оставил их одних. Одни рабы, хотя и не слышали приказа хозяина о том, как употребить часть имения господина, поняли, что имение не их, а хозяйское, и что имение должно расти, и работали для хозяина. И рабы, которые работали для хозяина, стали участниками жизни хозяина, а неработавшие лишены того, что было дано им.

Жизнь сына человеческого дана всем людям, и им не сказано, зачем она дана им. Одни

люди понимают, что жизнь не их собственность, а дана им как дар, и должна служить жизни сына человеческого, и живут так. Другие, под предлогом непонимания цели жизни, не служат жизни. И люди, служащие жизни, сливаются с источником жизни; люди, не служащие жизни, лишаются ее. И вот с стиха 31—46 Христос говорит о том, в чем состоит служение сыну человеческому и в чем награда этого служения. Сын человеческий, по выражению Христа, как царь (34), скажет: «Придите благословенные отца, наследуйте царство за то, что вы поили, кормили, одевали, принимали, утешали меня, потому что я всё тот же один и в вас, и в малых сих, которых вы жалели и которым делали добро. Вы жили жизнью не личной, а жизнью сына человеческого, и потому вы имеете жизнь вечную».

Только этой вечной жизни учит Христос по всем Евангелиям, и, как ни странно это сказать про Христа, который лично воскрес и обещал всех воскресить, никогда Христос не только ни одним словом не утверждал личное воскресение и бессмертие личности за гробом, но и тому восстановлению мертвых в царстве мессии, которое основали фарисеи, придавал значение, исключающее представление о личном воскресении.

Саддукеи оспаривали восстановление мертвых. Фарисеи признавали его так же, как признают его теперь правоверные евреи.

Восстановление мертвых (а не воскресение, как неправильно переводится это слово), по верованиям евреев, совершится при наступлении века мессии и установлении царства бога на земле. И вот Христос, встречаясь с этим верованием временного, местного и плотского воскресения, отрицает его и на место его ставит свое учение о восстановлении вечной жизни в боге.

Когда саддукеи, не признающие восстановления мертвых, спрашивают Христа, предполагая, что он разделяет понятия фарисеев, «чья будет жена семи братьев?» — он ясно и определенно отвечает о том и о другом.

Он говорит: Матф. XXII, 20—32; Марка XII, 24—27; Луки XX, 34—38: «Вы заблуждаетесь, не понимая писания и силу Божию». И, отвергая представление фарисеев, он говорит: Восстановление из мертвых бывает не плотское и не личное. Те, которые достигнут восстановления из мертвых, делаются сынами бога и живут как ангелы (сила бога) на небе (т. е. с богом), и вопросов личных, чья жена, для них не может быть, потому что они, соединяясь с богом, перестают быть личностями. «Что же касается того, что есть восстановление мертвых», говорит он, возражая саддукеям, признающим одну земную жизнь и ничего, кроме плотской земной жизни, «то разве вы не читали того, что сказано вам богом? В писании сказано, что бог при купине сказал Моисею: «Я — бог Авраама, бог Исаака, бог Иакова». Если бог сказал Моисею, что он бог Иакова, то Иаков не умер для бога, потому что бог есть бог только живых, а не мертвых. *Для бога все живы.* И потому если есть живой бог, то и жив тот человек, который стал в общение с вечно живым богом.

Против фарисеев Христос говорит, что восстановление жизни не может быть плотское и личное. Против саддукеев он говорит, что, кроме личной и временной жизни, есть еще жизнь в общении с богом.

Христос, отрицая личное, плотское воскресение, признает восстановление жизни в том, что человек жизнь свою переносит в бога. Христос учит спасению от жизни личной и полагает это спасение в возвеличении сына человеческого и жизни в боге. Связывая это свое учение с учением евреев о пришествии мессии, он говорит евреям о восстановлении сына человеческого из мертвых, разумея под этим не плотское и личное восстановление мертвых, а пробуждение жизни в боге. О плотском же личном воскресении он никогда не говорил. Лучшим доказательством того, что Христос никогда не проповедовал воскресения людей, служат те единственные два места, которые приводятся богословами в подтверждение его учения о воскресении. Эти два места следующие: Матф. XXV, 31—46 и Иоанна V, 28, 29. В первом говорится о пришествии, т. е. восстановлении, возвеличении сына человеческого (точно так же, как это говорится у Матф. X, 23), и потом величие и власть сына человеческого сравниваются с царем. Во втором месте говорится о восстановлении истинной жизни здесь на земле, как это и выражено в предшествующем 24 стихе.

Стоит вдуматься в смысл учения Христа о жизни вечной в боге, стоит восстановить в своем воображении учение еврейских пророков, чтобы понять, что если бы Христос хотел проповедовать учение о воскресении мертвых, которое тогда только начинало входить в Талмуд и было предметом спора, то он ясно и определенно высказал бы это учение; он же, наоборот, не только не сделал этого, но даже отверг его, и во всех Евангелиях нельзя найти ни одного места, которое бы подтверждало это учение. А два приведенные выше места означают совсем другое.

О своем же личном воскресении, как это ни покажется странным всем, кто не изучал сам Евангелий, *Христос никогда нигде не говорит*. Если, как учат богословы, основа веры Христовой — в том, что Христос воскрес, то, казалось бы, меньшее, чего можно желать, — это то, чтобы Христос, зная, что он воскреснет и что в этом будет состоять главный догмат веры в него, хотя бы один раз определенно и ясно сказал это. Но он не только не сказал этого определенно и ясно, но ни разу, ни одного разу по всем нашим каноническим Евангелиям даже не упомянул об этом. Учение Христа в том, чтобы возвысить сына человеческого, т. е. сущность жизни человека — признать себя сыном бога. В самом себе Христос олицетворяет человека, признавшего свою сыновность богу: Матф. XVI, 13—20. Он спрашивает у учеников: что про него — *сына человеческого* — толкуют люди? Ученики говорят, что одни считают его за чудесно воскрешенного Иоанна или за пророка, другие — за Илию, пришедшего с неба. — Ну, а вы как понимаете меня? — спрашивает он. И Петр, понимая Христа так же, как он сам понимал себя, отвечает: ты — мессия, сын бога живого. И Христос говорит: не плоть и кровь открыли тебе это, а отец наш небесный, т. е. ты понял это не потому, что ты поверил человеческим толкованиям, а потому, что ты, сознав себя сыном бога, понял меня. И, объяснив Петру, что на этой сыновности богу зиждется истинная вера, Христос говорит другим ученикам, чтобы они и не говорили вперед, что именно он, Иисус — мессия. И после этого Христос говорит: что, несмотря на то, что его будут мучить и убьют, сын человеческий, сознавший себя сыном бога, все-таки будет восстановлен и восторжествует над всем. И эти-то слова толкуются за предсказание о его воскресении.

Иоан. II, 10, 22. Матф. XII, 40. Луки XI, 30. Матф. XVI, 4. Матф. XVI, 21. Марка VIII, 31. Луки IX, 22. Матф. XVII, 23. Марка IX, 31. Матф. XX, 19. Марка X, 34. Луки XVIII, 33. Матф. XXVI, 32. Марка XIV, 28. Вот все 14 мест, которые понимаются так, что Христос предсказывал свое воскресение. В трех из этих мест говорится о Ионе во чреве китове и в одном о восстановлении храма. В остальных же десяти местах говорится о том, что сын человеческий не может быть уничтожен; но нигде ни одним словом не говорится о воскресении Иисуса Христа.

Во всех этих местах в подлиннике нет даже слова «*воскресение*». Дайте человеку, не знающему богословских толкований, но знающему по-гречески, перевести все эти места, и никогда никто не переведет их так, как они переведены. В подлиннике в этих местах стоят два разные слова: одно ἀνίστημι, другое ἐγείρω. Одно из этих слов значит: «восстановить»; другое значит: «будить», и в медиуме: «проснуться», «встать». Но ни то, ни другое никогда ни в каком случае не может значить: «воскреснуть». Для того, чтобы вполне убедиться в том, что греческие слова эти и соответствующее им еврейское *кум* не могут значить «воскреснуть», стоит только сличить те места Евангелия, где употребляются эти слова, а употребляются они множество раз и ни разу не переведены словом «воскреснуть». Слова «воскреснуть», «*auferstehen*», «*ressusciter*», нет ни на греческом, ни на еврейском языке, так как не было и соответствующего им понятия. Чтобы на греческом или на еврейском языке выразить понятие о воскресении, нужна перифраза, нужно сказать: «встал» или «проснулся» из мертвых. Так, в Евангелии говорится (Матф. XIV, 2) про то, что Ирод полагал, что Иоанн Креститель «воскрес», и там сказано: «проснулся из мертвых». Так и у Луки XVI, 31 говорится в притче о Лазаре про то, что «если бы кто и воскрес, то и воскресшему бы не поверили, и сказано: «восстал бы из мертвых». Там же, где к словам: «встать», или «проснуться» не прибавлено слов: *из мертвых*, слова — «встать» и «проснуться» никогда не значили и не могут значить — «воскреснуть». А говоря о себе, Христос ни разу во всех тех

местах, которые приводятся в доказательство предсказания его о «воскресении», ни разу, ни одного разу не употребляет слов: «из мертвых».

Наше понятие о воскресении до такой степени чуждо понятию евреев о жизни, что нельзя себе представить даже, как мог бы говорить Христос евреям о воскресении и вечной личной, свойственной каждому человеку жизни. Понятие о будущей личной жизни пришло к нам не из еврейского учения и не из учения Христа. Оно вошло в церковное учение совершенно со стороны. Как ни странно это покажется, но нельзя не сказать, что верование в будущую личную жизнь есть очень низменное и грубое представление, основанное на смешении сна со смертью и свойственное всем диким народам, и что еврейское учение, не говоря уже о христианском, стояло неизмеримо выше его. Мы же так уверены в том, что это суеверие есть что-то очень возвышенное, что пресерьезно доказываем преимущество нашего учения перед другими именно тем, что мы держимся этого суеверия, а другие, как китайцы и индусы, не держатся его. Это доказывают не только богословы, но и вольнодумные ученые историки религий — Тиле, Макс Мюллер и др.; классифицируя религии, они признают, что те из них, которые разделяют это суеверие, выше тех, которые его не разделяют. Вольнодумный Шопенгауэр прямо называет еврейскую религию самой пакостной (*niederträchtigste*) из всех религий за то, что в ней нет и понятия (*keine Idee*) о бессмертии души. Действительно, в еврейской религии ни понятия, ни слова такого не было. Жизнь вечная по-еврейски «*хайе-ойлом*». *Ойлом* значит бесконечное, во времени непоколебимое. *Ойлом* значит тоже мир — космос. Жизнь вообще, и тем более жизнь вечная, *хайе-ойлом*, по учению евреев, есть свойство одного бога. Бог есть бог жизни, бог живой. Человек, по понятию евреев, всегда смертен, только бог есть всегда живой. В Пятикнижии два раза употреблены слова: «жизнь вечная». Один раз во Второзаконии, другой раз в книге Бытия. Во Второзаконии, гл. XXXII, 39, 40, бог говорит: поймите, что это я — я. Что нет бога, кроме меня; я живлю, я умерщвляю, я бью, я исцеляю, и от меня никто не освобождается; я поднимаю руку до неба и говорю: *я живу вечно*. В другой раз: в книге Бытия III, 22, бог говорит: вот человек съел плода от дерева познания добра и зла и стал таким, как мы (одним из нас); как бы он не протянул руки и не взял с дерева жизни и не съел и не стал бы *жить вечно*. Эти два единственные случая употребления слов: *жизнь вечная* в Пятикнижии и во всем Ветхом Завете (за исключением одной главы апокрифического Даниила) ясно определяют понятия евреев о жизни вообще и жизни вечной. Жизнь сама по себе, по понятию евреев, вечна и такова она в боге: человек же всегда смертен, таково его свойство.

Нигде в Ветхом Завете не сказано того, чему учат нас в священных историях — что бог вдунул в человека душу *бессмертную*, или того, что первый человек до греха был бессмертен. Бог сотворил, по первому сказанию книги Бытия, ст. 26 I гл., человека точно так же, как и животных, точно так же мужеский и женский пол и точно так же велел им плодиться и множиться. Как о животных не сказано, что они бессмертны, точно так же не сказано этого и о человеке. Во второй главе говорится о том, как человек познал добро и зло. Но о жизни сказано прямо, что бог выгнал человека из рая и загородил ему путь к дереву жизни. Человек так и не вкусил плода дерева жизни, он так и не получил *хайе-ойлом*, т. е. жизни вечной, и остался смертен.

По учению евреев, человек есть человек точно такой, какой он есть, т. е. смертный. Жизнь есть в нем только как жизнь, продолжающаяся из рода в род в народе. Один только народ, по учению евреев, имеет в себе возможность жизни. Когда бог говорит: будете жить и не умрете, то он говорит это народу. Вдунутая в человека богом жизнь есть смертная для каждого отдельного человека, но жизнь эта продолжается из поколения в поколение, если люди исполняют завет с богом, т. е. условия, положенные для этого богом.

Изложив все законы и сказав, что законы эти не на небе, а в сердцах их, Моисей говорит во Второзаконии XXX, 15: «Вот ныне я кладу перед вами благо и жизнь, смерть и зло, увещая вас любить бога и идти по его путям, исполняя его закон с тем, чтобы вы удержали жизнь». И в ст. 19: «Беру в свидетели против вас небо и землю. Вот *жизнь* и *смерть*, благословение и проклятие я кладу перед вами. Изберите же жизнь с тем, чтобы

жить вам и потомству вашему, любя бога, повинаясь ему и прилепляясь к нему, потому что от него ваша жизнь и продолжение ее».

Главное различие между нашим понятием о жизни человеческой и понятием евреев состоит в том, что, по нашим понятиям, наша смертная жизнь, переходящая от поколения к поколению, не настоящая жизнь, а жизнь падшая, почему-то временно испорченная; а по понятию евреев, эта жизнь есть самая настоящая, есть высшее благо, данное человеку под условием исполнения воли бога. С нашей точки зрения переход этой падшей жизни от поколения к поколениям есть продолжение проклятия. С точки зрения евреев это есть высшее благо, которого может достигнуть человек, и то только исполняя волю бога.

Вот на этом-то понятии о жизни и основывает Христос свое учение о жизни истинной или вечной, которую он противопоставляет жизни личной и смертной. «Исследуйте писания», говорит Христос евреям (Иоан. V, 39), «ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную».

Юноша спрашивает Христа (Матф. XIX, 16): как войти в жизнь вечную? Христос, отвечая ему на вопрос о жизни вечной, говорит: если хочешь войти в *жизнь* (он не говорит: жизнь вечную, а — просто жизнь), соблюди заповеди. То же говорит законнику: так поступай, и будешь жить (Луки X, 28), и то же говорит — жить, просто, не прибавляя — жить вечно. Христос в обоих случаях определяет, что должно разуметь под словами: жизнь вечная; когда он употребляет их, то говорит евреям то же самое, что сказано много раз в законе их, а именно: исполнение воли бога есть жизнь вечная.

Христос в противоположность жизни временной, частной, личной учит той вечной жизни, которую по Второзаконию бог обещал израилю, но только с той разницею, что, по понятию евреев, жизнь вечная продолжалась только в избранном народе израильском и для приобретения этой жизни нужно было соблюдать исключительные законы бога для израиля, а по учению Христа жизнь вечная продолжается в сыне человеческом, и для сохранения ее нужно соблюдать законы Христа, выражающие волю бога для всего человечества.

Христос противопоставляет личной жизни не загробную жизнь, а жизнь общую, связанную с жизнью настоящей, прошедшей и будущей всего человечества, жизнь сына человеческого.

Спасение жизни личной от смерти, по учению евреев, было исполнением воли бога, выраженной в законе Моисея по его заповедям. Только при этом условии жизнь евреев не погибала, а переходила от поколения к поколению в избранном богом народе. Спасение жизни личной от смерти по учению Христа есть то же самое исполнение воли бога, выраженное в заповедях Христа. Только при этом условии, по учению Христа, жизнь личная не погибает, а становится вечною непоколебимо в сыне человеческом. Разница только в том, что служение богу Моисея было служением богу одного народа; а служение отцу Христа есть служение богу всех людей. Продолжение жизни в поколениях одного народа было сомнительно потому, что мог исчезнуть сам народ, и потому еще, что продолжение это зависело от плотского потомства. Продолжение жизни, по учению Христа, несомненно потому, что жизнь, по его учению, переносится в сына человеческого, живущего по воле отца.

Но положим, что слова Христа о страшном суде и совершении века и другие слова из Евангелия Иоанна имеют значение обещания загробной жизни для душ умерших людей, все-таки несомненно и то, что учение его о свете жизни, о царстве бога имеет и то доступное его слушателям и нам теперь значение, что жизнь истинная есть только жизнь сына человеческого по воле отца. Это тем легче допустить, что учение о жизни истинной по воле отца жизни включает в себя понятие о бессмертии и жизни за гробом.

Может быть, справедливее предположить, что человека после этой мирской жизни, пережитой для исполнения его личной воли, все-таки ожидает вечная личная жизнь в раю со всевозможными радостями; может быть, это справедливее, но думать, что это так, стараться верить в то, что за добрые дела я буду награжден вечным блаженством, а за дурные вечными муками, — думать так не содействует пониманию учения Христа; думать так значит, напротив, лишать учение Христа самой главной его основы.

Всё учение Христа в том, чтобы ученики его, поняв призрачность личной жизни, отрелись от нее и переносили ее в жизнь всего человечества, в жизнь сына человеческого. Учение же о бессмертии личной души не только не призывает к отречению от своей личной жизни, но навеки закрепляет эту личность.

По понятию евреев, китайцев, индусов и всех людей мира, не верующих в догмат падения человека и искупления его, жизнь есть жизнь, как она есть. Человек живет, совокупляется, рождает детей, воспитывает их, стареется и умирает. Дети его вырастают и продолжают его жизнь, которая, не прерываясь, ведется от поколения к поколениям, точно так же, как ведется все в мире существующее; камни, земля, металлы, растения, звери, светила и всё в мире. Жизнь есть жизнь, и ею надо воспользоваться как можно лучше. Жить для себя одного неразумно. И потому, с тех пор как есть люди, они отыскивают для жизни цели вне себя: живут для своего ребенка, для семьи, для народа, для человечества, для всего, что не умирает с личной жизнью.

Наоборот, по учению нашей церкви, жизнь человеческая, как высшее благо, известное нам, представляется только частицей той жизни, которая на время удержана от нас. Наша жизнь, по нашему понятию, не есть жизнь такая, какую бог хотел и должен был нам дать, а жизнь наша есть испорченная, дурная, падшая жизнь, «образчик» жизни, насмешка над настоящей, над тою, которую почему-то мы воображаем, что бог должен был дать нам. Главная задача нашей жизни по этому представлению не в том, чтобы прожить ту данную нам смертную жизнь так, как хочет податель жизни, не в том, чтобы сделать ее вечною в поколениях людей, как евреи, или слиянием ее с волею отца, как учил Христос, а в том, чтобы уверить себя, что после этой жизни начнется настоящая.

Христос не говорит про эту нашу мнимую жизнь, которую бог должен был дать, но не дал почему-то людям. Теория грехопадения Адама и вечной жизни в раю и бессмертной души, вдунутой богом в Адама, была неизвестна Христу, и он не упоминал про нее и ни одним словом не намекал на существование ее.

Христос говорит о жизни, какая она есть и какая будет всегда. Мы же говорим о той жизни, которую мы себе вообразили и которой никогда не было; как же нам понять учение Христа?

Христос и не мог представить себе такого странного понятия у своих учеников. Он предполагает, что все люди понимают неизбежность гибели личной жизни, и открывает жизнь не погибающую. Он дает благо тем, которые во зле; но тем, которые уверились, что они имеют гораздо больше того, что дает Христос, учение его ничего не может дать. Я буду усовещивать человека, чтобы он работал, уверяя его, что он за то получит одежду и пищу, и вдруг этот человек уверится, что он и так миллионер; очевидно, что он не примет моих увещаний. Это самое происходит и с учением Христа. Что мне еще зарабатывать, когда я и так могу быть богачом? Что мне стараться прожить эту жизнь по-божьи, когда я уверен, что и без того я буду вечно лично жить?

Нас учат, что Христос спас людей тем, что он — второе лицо троицы, что он — бог и вочеловечился и, приняв на себя грех Адама и всех людей, искупил грех людей пред первым лицом троицы и установил для нашего спасения церковь и таинства. Веруя в это, мы спасаемся и получаем вечную личную жизнь за гробом. Но нельзя же отрицать и того, что он спас и спасает людей еще и тем, что, указав им на их неизбежную гибель, он, по словам своим: *Я есмь путь, жизнь и истина*, дал нам истинный путь жизни, взамен того ложного пути жизни личной, по которому мы шли прежде.

Если могут найтись люди, которые усомнятся в загробной жизни и спасении, основанном на искуплении, то в спасении людей, всех и каждого отдельно, чрез указание неизбежной гибели личной жизни и истинного пути спасения в слиянии своей воли с волею отца, не может быть сомнения. Пусть всякий разумный человек спросит себя: что такое его жизнь и смерть? И пусть придаст этой жизни и смерти какой-нибудь другой смысл, кроме того, который указал Христос.

Всякое осмысливание личной жизни, если она не основывается на отречении от себя

для служения людям, человечеству — сыну человеческому, есть призрак, разлетающийся при первом прикосновении разума. В том, что моя личная жизнь погибает, а жизнь всего мира по воле отца не погибает и что одно только слияние с ней дает мне возможность спасения, в этом я уж не могу усомниться. Но это так мало в сравнении с теми возвышенными религиозными верованиями в будущую жизнь! Хоть мало, но верно.

Я заблудился в снежную метель. Один уверяет меня, и ему так кажется, что вот они — огоньки, вот и деревня; но это только так кажется и ему и мне, потому что нам этого хочется, а уж мы ходили на эти огоньки, и их не оказалось. А другой пошел по снегу: походил, вышел на дорогу и кричит нам: «Никуда не ездите, огоньки у вас в глазах, везде заблудитесь и пропадете, а вот крепкая дорога, и я стою на ней, она выведет нас». Это очень мало. Когда мы верили огонькам, мелькавшим в наших ошалелых глазах, была уже вот-вот и деревня, и теплая изба, и спасенье, и отдых, а тут только крепкая дорога. Но если послушаемся первого, наверно замерзнем, а если послушаемся второго, наверно выедем.

Итак, что же я должен делать, если я один понял учение Христа и поверил в него, один среди непонимающих и неисполняющих его?

Что мне делать? Жить, как все, или жить по учению Христа? Я понял учение Христа в его заповедях и вижу, что исполнение их дает блаженство и мне и всем людям мира. Я понял, что исполнение этих заповедей есть воля того начала всего, от которого произошла и моя жизнь.

Я понял, кроме того, что что бы я ни делал, я неизбежно погибну бессмысленною жизнью и смертью со всем окружающим меня, если я не буду исполнять этой воли отца, и что только в исполнении ее — единственная возможность спасения.

Делая, как все, я наверно противодействую благу всех людей, наверно делаю противное воле отца жизни, наверно лишаю себя единственной возможности улучшить свое отчаянное положение. Делая то, чему Христос учит меня, я продолжаю то, что делали люди до меня: я содействую благу всех людей, теперь живущих, и тех, которые будут жить после меня, делаю то, что хочет от меня тот, кто произвел меня, и делаю то, что одно может спасти меня.

Горит цирк в Бердичеве, все жмутся и душат друг друга, напирая на дверь, которая отворяется внутрь. Является спаситель и говорит: «Отступите от двери, вернитесь назад; чем больше вы напираете, тем меньше надежды спасения. Вернитесь, и вы найдете выход и спасетесь». Многие ли, один ли я услышал это и поверил — всё равно; но, услышавши и поверивши, что же я могу сделать, как не то, чтобы пойти назад и звать всех на голос спасителя? Задушат, задавят, убьют меня — может быть; но спасение для меня все-таки лишь в том, чтобы идти туда, где единственный выход. И я не могу не идти туда. Спаситель должен быть точно спаситель, т. е. точно спасать. И спасение Христа есть точно спасение. Он явился, сказал — и человечество спасено.

Цирк горит час, и надо спешить, и люди могут не успеть спастись. Но мир горит уж 1800 лет, горит с тех пор, как Христос сказал: я огонь низвел на землю; и как томлюсь, пока он не разгорится, — и будет гореть, пока не спасутся люди. Не затем ли и люди, не затем ли и горит, чтобы люди имели блаженство спасения?

И, поняв это, я понял и поверил, что Иисус не только мессия, Христос, но что он точно и спаситель мира.

Я знаю, что выхода другого нет ни для меня, ни для всех тех, которые со мной вместе мучаются в этой жизни. Я знаю, что всем, и мне с ними вместе, нет другого спасения, как исполнять те заповеди Христа, которые дают высшее доступное моему пониманию благо всего человечества.

Больше ли у меня будет неприятностей, раньше ли я умру, исполняя учение Христа, мне не страшно. Это может быть страшно тому, кто не видит, как бессмысленна и погибельна его личная одинокая жизнь, и кто думает, что он не умрет. Но я знаю, что жизнь моя для личного одинокого счастья есть величайшая глупость и что после этой глупой жизни я непременно только глупо умру. И потому мне не может быть страшно. Я умру так же, как и все, так же, как и не исполняющие учения; но моя жизнь и смерть будут иметь смысл и для

меня и для всех. Моя жизнь и смерть будут служить спасению и жизни всех, — а этому-то и учил Христос.

IX

Исполни все люди учение Христа, и было бы царство бога на земле; исполни я один — я сделаю самое лучшее для всех и для себя. Без исполнения учения Христа нет спасения.

«Но где взять веры для того, чтобы исполнять его, всегда следовать ему и никогда не отречься от него? Верую, господи, помоги моему неверию».

Ученики просили Христа утвердить в них веру. «Хочу делать хорошее, и делаю дурное», — говорит апостол Павел.

«Трудно спастись», так говорят и думают обыкновенно.

Человек тонет и просит о спасении. Ему подают веревку, которая одна может спасти его, а утопающий человек говорит: утвердите во мне веру, что веревка эта спасет меня. Верю, говорит человек, что веревка спасет меня, но помогите моему неверию.

Что это значит? Если человек не хватается за то, что спасает его, то это значит только то, что человек не понял своего положения.

Как может христианин, исповедующий божественность Христа и его учения, как бы он ни понимал его, говорить, что он хочет верить и не может? Сам бог, придя на землю, сказал: вам предстоят вечные мучения, огонь, вечная тьма крошечная, и вот спасенье вам — в моем учении и исполнении его. Не может такой христианин не верить в предлагаемое спасенье, не исполнять его и говорить: «помоги моему неверию».

Для того, чтобы человек мог сказать это, надо не только не верить в свою погибель, но надо верить в то, что он не погибнет.

Дети попрыгали с корабля в воду. Их еще держит течение, ненамокнутое платье и их слабые движения, и они не понимают своей гибели. Сверху из убегающего корабля выкинута им веревка. Им говорят, что они наверно погибнут, их умоляют с корабля (притчи: о женщине, нашедшей полушку, о пастухе, нашедшем пропавшую овцу, об ужине, о блудном сыне говорят только про это); но дети не верят. Они не верят не веревке, а тому, что они погибают. Такие же легкомысленные дети, как и они, уверили их, что они всегда, когда и уйдет корабль, будут весело купаться. Дети не верят в то, что скоро платье их намокнет, ручки намажутся, что они станут задыхаться, захлебнутся и пойдут ко дну. В это они не верят, и только потому не верят в веревку спасения.

Как дети, упавшие с корабля, уверились в том, что они не погибнут, и оттого не берутся за веревку; так точно и люди, исповедующие бессмертие душ, уверились в том, что они не погибнут, и оттого не исполняют учение Христа бога. Они не верят в то, во что нельзя не верить, только потому, что они верят в то, во что нельзя верить.

И вот они взывают к кому-то: «Утверди в нас веру в то, что мы не погибнем».

Но этого невозможно сделать. Для того, чтобы у них была вера в то, что они не погибнут, им надо перестать делать то, что их губит, и начать делать то, что их спасает — им надо взяться за веревку спасенья. А они не хотят этого сделать, а хотят увериться в том, что они не погибнут, несмотря на то, что на их глазах один за другим гибнут их товарищи. И это-то желание свое увериться в том, чего нет, они называют верой. Понятно, что им всегда мало веры и хочется иметь больше.

Когда я понял учение Христа, только тогда я понял также, что то, что люди эти называют верой, не есть вера, и что эту-то самую ложную веру и опровергает апостол Иаков в своем послании. (Послание это долго не принималось церковью и, когда было принято, подверглось некоторым извращениям: некоторые слова выкидываются, некоторые переставляются или переводятся произвольно. Я оставлю принятый перевод, исправляя только неточности по Тишендорфскому тексту.)

П, 14. «Что в том пользы, братия мои, — говорит Иаков, — если человек *полагает*, что он имеет веру, а дел не имеет? Не может вера спасти его. 15. Если, например, брат или сестра

ходят голые, и нет у них дневного пропитания. 16. И скажет им кто-нибудь из вас: идите с богом, грейтесь и питайтесь, и вы не дадите им того, что нужно для их тела, что в том пользы? 17. Так-то и вера, если от нее нет дел, мертва сама по себе. 18. И всякий может сказать: у тебя вера, а у меня дела, покажи мне веру твою без дел, а я покажу тебе делами моими мою веру. 19. Ты веришь, что бог один: хорошо! и бесы верят и трепещут. 20. Хочешь ли узнать, пустой человек, что вера без дел мертва? 21. Авраам, отец наш, не делами ли стал праведен, положив сына своего Исаака на жертвенник? 22. Видишь, что вера содействовала делам его, а делами совершилась вера? 23.....24. Видите, что делами становится праведным человек, а не верою только. 25.....26. Потому что так же, как тело без души мертво, так и вера без дел мертва».

Иаков говорит, что единственный признак веры — дела, вытекающие из нее, и что потому вера, из которой не вытекают дела, есть только слова, которыми как не накормишь никого, так и не сделаешь себя праведным и не спасешься. И потому вера, из которой не вытекают дела, не есть вера. Это только желание верить во что-нибудь, это только ошибочное утверждение на словах, что я верю в то, во что я не верю.

Вера, по этому определению, есть то, что содействует делам, а дела — то, что совершает веру, т. е. то, что делает веру верою.

Иудеи говорили Христу (Иоан. VI, 30): «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь?»

Это же говорили ему, когда он был на кресте. Марка XV, 32. «Пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели, и уверуем».

Матф. XXVII, 42. «Других спасал, а себя самого не может спасти! Если он царь израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него».

И на такое требование усиления веры Христос отвечает им, что желание их напрасно и что ничем нельзя заставить их верить тому, во что они не верят. Он говорит: «Если скажу вам, вы не поверите» (Луки XXII, 67). «Я сказал вам, и не верите. Вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам» (Иоан. X, 25, 26).

Иудеи требуют того же, что требуют церковные христиане, чего-нибудь такого, что заставило бы их внешним образом поверить в учение Христа. И он отвечает им, что это невозможно, и объясняет им, почему невозможно. Он говорит, что они не могут верить потому, что они не из овец его, т. е. не следуют тому пути жизни, который он показал овцам своим. Он объясняет (Иоан. V, 44), в чем различие его овец и других, объясняет, почему одни верят, а другие нет, и на чем зиждется вера. «Как вы можете веровать, — говорит он, — когда друг от друга принимаете δόξα учение,⁸ а то учение, которое от единого бога, того не ищите?»

Чтобы верить, говорит Христос, надо искать то учение, которое от одного только бога. Говорящий от себя ищет свое личное учение (δόξαν τὴν ἰδίαν), а кто ищет учение пославшего его, тот истинен, и нет неправды в нем (Иоан. VII, 18).

Учение о жизни, δόξα, есть основа веры.

Поступки все вытекают из веры. Веры же все вытекают из δόξα, того смысла, который мы приписываем жизни. Поступков может быть бесчисленное количество, вер тоже очень много; но учений о жизни (δόξα) есть только два: одно из них отрицает, а другое признает Христос. Одно учение — то, которое отрицает Христос, состоит в том, что личная жизнь есть что-то действительно существующее и принадлежащее человеку. Это — то учение, которого держалось и держится большинство людей и из которого вытекают все разнообразные веры людей мира и все их поступки. Другое учение — то, которое проповедовали все пророки и Христос, именно: что жизнь наша личная получает смысл только в исполнении воли бога.

⁸ Δόξα, как и во многих местах, совершенно неправильно переводится словом: слава. Δόξα от δοκέω значит воззрение, суждение, учение.

Если человек имеет ту δόξα, что важнее всего его личность, то он будет считать, что его личное благо есть самое главное и желательное в жизни и, смотря по тому, в чем он будет полагать это благо, — в приобретении ли имения, в знатности ли, в славе, в удовлетворении ли похоти и пр., — у него будет соответственная этому взгляду вера, и все поступки его будут всегда сообразны с нею.

Если δόξα человека — другая, если он понимает жизнь так, что смысл ее только в исполнении воли бога, как понимал это Авраам и как учил этому Христос, то, смотря по тому; в чем он будет полагать волю бога, у него будет и соответствующая вера, и все поступки его будут вытекать из этой веры.

Вот почему и не могут верующие в благо личной жизни поверить в учение Христа. И все усилия их поверить этому всегда останутся тщетны. Чтобы поверить, — им надо изменить свой взгляд на жизнь. А пока они не изменили его, дела их будут всегда совпадать с их верой, а не с их желаниями и словами.

Желание верить в учение Христа тех, которые просили у него знамений, и наших верующих не совпадает и не может совпадать с их жизнью, как бы они ни старались об этом. Они могут молиться Христу богу, причащаться, делать дела человеколюбия, строить церкви, обращать других; они всё это и делают, но не могут делать дел Христа, потому что дела эти вытекают из веры, основанной на совсем другом учении (δόξα), чем то, которое они признают. Они не могут принести в жертву единственного сына, как это сделал Авраам, между тем как Авраам не мог даже задуматься над тем, принести ли, или не принести сына своего в жертву богу, тому богу, который один давал смысл и благо его жизни. И точно так же Христос и ученики его не могли не отдавать своей жизни другим, потому что в этом, одном был смысл и благо их жизни. Из этого-то непонимания сущности веры и вытекает то странное желание людей — сделать так, чтобы поверить в то, что жить по учению Христа лучше, тогда как всеми силами души, согласно с верой в благо личной жизни, им хочется жить противно этому учению.

Основа веры есть смысл жизни, из которого вытекает оценка того, что важно и хорошо в жизни, и того, что неважно и дурно. Оценка всех явлений жизни есть вера. И как теперь люди, имея веру, основанную на своем учении, никак не могут согласовать ее с верою, вытекающей из учения Христа, так не могли этого сделать и ученики его. И это недоразумение много раз резко и ясно выражено в Евангелии. Ученики Христа много раз просили его утвердить их веру в то, что он говорил: Матф. XX, 20—28 и Марк. X, 35—45. По обоим Евангелиям, после слова, страшного для каждого верующего в личную жизнь и полагающего благо в богатстве мира, после слов о том, что богатый не войдет в царство бога, и после еще более страшных для людей, верующих только в личную жизнь, слов о том, что кто не оставит всего и жизни своей ради учения Христа, тот не спасется, — Петр спрашивает: что же будет нам, последовавшим за тобой и оставившим всё? Потом, по Марку, Иаков и Иоанн сами, а по Матфею их мать, просят его, чтобы он сделал так, чтобы они сели по обеим сторонам его, когда он будет в славе. Они просят, чтобы он утвердил их веру обещанием награды. На вопрос Петра Иисус отвечал притчей (Матф. XX, 1—16); на вопрос же Иакова он говорит: вы сами не знаете, чего хотите, т. е. вы просите невозможного. Вы не понимаете учения. Учение — в отречении от личной жизни, а вы просите личной славы, личной награды. Пить чашу (провести жизнь) вы можете такую же, как и я, но сесть справа и слева от меня, т. е. быть равными мне, этого никто не может сделать. И тут Христос говорит: только в мирской жизни сильные мира пользуются и радуются славой и властью личной жизни; но вы, ученики мои, должны знать, что смысл жизни человеческой не в личном счастье, а в служении всем, в унижении перед всеми. Человек не затем живет, чтобы ему служили, а затем, чтобы самому служить и отдавать свою личную жизнь, как выкуп за всех. Христос на требование учеников, показавшее ему всё непонимание ими его учения, не приказывает им верить, т. е. изменить ту оценку благ и зол жизни, которая вытекает из его учения (он знает, что это невозможно), а разъясняет им тот смысл жизни, на котором зиждется вера, т. е. истинная оценка того, что хорошо и дурно, важно и неважно.

На вопрос Петра (Марк. X, 28): что нам будет, какая награда за наши жертвы? Христос отвечает притчей о рабочих, нанятых в разное время и получивших одинаковую награду. Христос разъясняет Петру его непонимание учения, от которого и зависит отсутствие его веры. Христос говорит: только в жизни личной и бессмысленной дорого и важно вознаграждение за работу по мере работы. Вера в вознаграждение за работу по мере работы вытекает из учения личной жизни. Вера эта зиждется на предположении о правах, которые мы будто имеем на что-то; но прав человек ни на что не имеет и не может иметь; он только имеет обязательства за благо, данное ему, и потому ему нельзя считаться ни с кем. Отдав всю свою жизнь, он все-таки не может отдать того, что ему дано, и потому хозяин не может быть несправедливым к нему. Если же человек заявляет права на свою жизнь, считается с началом всего, с тем, что дало ему жизнь, то этим он только показывает, что он не понимает смысла жизни.

Люди, получив счастье, требуют еще чего-то. Люди эти стояли на базаре праздные и несчастные — не жили. Хозяин взял их и дал им высшее счастье жизни — труд. Они приняли милость хозяина и потом остались недовольны. Они недовольны потому, что у них нет ясного сознания своего положения. Они пришли на работу с своим ложным учением о том, что они имеют право на свою жизнь и на свой труд и что поэтому труд их должен быть вознагражден. Они не понимают того, что этот труд есть самое высшее благо, которое дано им и за которое им надо только стараться воздать такое же благо, а нельзя требовать вознаграждения. И потому люди, имеющие такое же, как эти рабочие, превратное понятие о жизни, не могут иметь правильной и истинной веры.

Притча о хозяине и работнике, пришедшем с поля, сказанная в ответ на прямую просьбу учеников утвердить, умножить в них веру, еще яснее определяет основу той веры, которой учит Христос.

Луки XVII, 3—10. На слова Христа, что надо прощать брату не раз, а семь раз семьдесят, ученики, ужасаясь трудности исполнения этого правила, говорят: да, но... надо верить, чтоб исполнять это; утверди же, умножь в нас веру. Как прежде они спрашивали: что нам за это будет? так и теперь спрашивают о том же самом, что говорят все так называемые христиане. Хочу верить, но не могу; утверди в нас веру в то, что веревка спасения спасает нас. Они говорят: сделай так, чтобы мы верили, — то самое, что говорили ему, требуя от него чудес. Чудесами или обещаниями наград сделай так, чтобы мы верили своему спасению.

Ученики говорят так, как мы говорим: хорошо бы было сделать так, чтобы нам, живя той жизнью одинокой, своевольной, которой мы живем, верить еще, что, если мы будем исполнять учение бога, нам будет еще лучше. Мы все предъявляем это противное всему смыслу учения Христа требование и удивляемся, что никак не можем поверить. И на это-то самое коренное недоразумение, бывшее тогда, как и теперь, он отвечает притчей, в которой показывает, что есть истинная вера. Вера не может произойти от доверия к тому, что он скажет; вера происходит только от сознания своего положения. Вера зиждется только на разумном сознании того, что лучше делать, находясь в известном положении. Он показывает, что нельзя возбудить в других людях эту веру обещанием наград и угрозой наказания, что это будет доверие очень слабое, которое разрушится при первом искушении, что та вера, которая горы сдвигает, та, которую ничто поколебать не может, зиждется на сознании неизбежной гибели и того единственного спасения, которое возможно в этом положении.

Для того, чтобы иметь веру, не нужно никаких обещаний наград. Нужно понять, что единственное спасение от неизбежной гибели жизни есть жизнь общая по воле хозяина. Всякий, понявший это, не будет искать утверждения, а будет спасаться без всяких увещаний.

На просьбу учеников утвердить в них веру Христос говорит: когда хозяин придет с работником с поля, то не велит ему сейчас обедать, а велит убрать скотину и служить, а потом уж работник садится за стол и обедает. Работник всё это делает и не считает себя обиженным, и не хвалится, и не требует благодарности или награды, а знает, что это так

должно быть и что он делает только то, что нужно, что это есть необходимое условие службы и вместе с тем истинное благо его жизни. Так и вы, говорит Христос, когда сделаете всё, что вам велено, считайте, что вы сделали только то, что должны были делать. Кто поймет свое отношение к хозяину, тот поймет, что, только покоряясь воле хозяина, он может иметь жизнь, и будет знать, в чем его благо, и будет иметь веру, для которой не будет ничего невозможного. Вот этой-то вере и учит Христос. Вера, по учению Христа, зиждется на разумном сознании смысла своей жизни.

Основа веры, по учению Христа, есть свет.

Иоан. I, 9—12. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир произошел через него, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими. Иоан. III, 19—21. Суд же⁹ состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет; потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий худые дела, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличались дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в боге соделаны.

Для того, кто понял учение Христа, не может быть вопроса об утверждении веры. Вера, по учению Христа, зиждется на свете истины. Христос нигде не призывает к вере в себя; он призывает только к вере в истину.

Иоан. VIII, 40. Он говорит иудеям: Вы ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от бога.

46. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Иоан. XVIII, 37. Он говорит: Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает голоса моего.

Иоан. XVI, 6. «Он говорит: Я — путь и истина и жизнь».

«Отец, — говорит он ученикам в той же главе (16), — даст вам другого утешителя, и тот будет с вами вовек. Утешитель этот — дух истины, которого мир не видит и не знает, а вы знаете, потому что он при вас и в вас будет».

Он говорит, что всё его учение, что он сам есть истина.

Учение Христа есть учение об истине. И потому вера в Христа не есть доверие во что-нибудь, касающееся Иисуса, но знание истины. В учение Христа нельзя верить никому, нельзя подкупать ничем к исполнению его. Кто понимает учение Христа, у того и будет вера в него, потому что учение это — истина. А кто знает истину, нужную для его блага, тот не может не верить в нее, и потому человек, понявший, что он истинно тонет, не может не взяться за веревку спасения. И вопрос, как сделать, чтобы поверить, есть вопрос, выражающий только непонимание учения Христа.

Х

Мы говорим: «трудно жить по учению Христа!» Да как же не трудно, когда мы сами старательно всей жизнью нашей скрываем от себя наше положение и старательно утверждаем в себе доверие к тому, что наше положение совсем не то, какое есть, а совершенно другое. И это-то доверие, назвав его верою, мы возводим во что-то священное и всеми средствами — насилием, действием на чувства, угрозами, лестью, обманом — заманиваем к этому ложному доверию. В этом требовании доверия к невозможному и неразумному, мы доходим до того, что самую неразумность того, к чему мы требуем доверия, считаем признаком истинности. Нашелся человек христианин, который сказал *credo, quia absurdum*,¹⁰ и другие христиане с восторгом повторяют это, предполагая, что

⁹ Суд — κρίσις — значит не суд, а разделение.

¹⁰ [верю, потому что нелепо,]

нелепость есть самое лучшее средство для научения людей истине. Недавно в разговоре со мной один ученый и умный человек сказал мне, что христианское учение, как нравственное учение о жизни, не важно. «Всё это, — сказал он мне, — можно найти у стоиков, у браминов, в Талмуде. Сущность христианского учения не в этом, а в теозофическом учении, выраженном в догматах». То есть не то дорого в христианском учении, что вечно и общечеловечно, что нужно для жизни и разумно, а важно и дорого в христианстве то, что совершенно непонятно и потому ненужно, и то, во имя чего побиты миллионы людей.

Мы составили себе ни на чем, кроме как на нашей злости и личных похотях основанное ложное представление о нашей жизни и о жизни мира, и веру в это ложное представление, связанное внешним образом с учением Христа, считаем самым нужным и важным для жизни. Не будь этого веками поддерживаемого людьми доверия ко лжи, ложь нашего представления о жизни и истина учения Христа обнаружили бы давно.

Ужасно сказать (но мне иногда кажется): не будь вовсе учения Христа с церковным учением, выросшим на нем, то те, которые теперь называются христианами, были бы гораздо ближе к учению Христа, т. е. к разумному учению о благе жизни, чем они теперь. Для них не были бы закрыты нравственные учения пророков всего человечества. У них были бы свои маленькие проповедники истины, и они верили бы им. Но теперь вся истина открыта, и вся истина эта показалась так страшна тем, чьи дела были злы, что они перетолковали ее в ложь, и люди потеряли доверие к истине. В нашем европейском обществе на заявление Христа, — что он пришел в мир для того, чтобы свидетельствовать о истине, и что потому всякий, кто — от истины, слышит его, на эти слова все давно уже отвечали себе словами Пилата: *что есть истина?* Эти слова, выражающие такую грустную и глубокую иронию над одним римлянином, мы приняли взаправду и сделали их своей верою. Все в нашем мире живут не только без истины, не только без желания узнать ее, но с твердой уверенностью, что из всех праздных занятий самое праздное есть искание истины, определяющей жизнь человеческую.

Учение о жизни — то, что у всех народов до нашего европейского общества всегда считалось самым важным, то, про что Христос говорил, что оно единое на потребу, — это-то одно исключено из нашей жизни и всей деятельности человеческой. Этим занимается учреждение, которое называется церковью и в которое никто, даже составляющие это учреждение, давно уже не верят.

Единственное окно для света, к которому обращены глаза всех мыслящих, страдающих, заслонено. На вопрос: что я, что мне делать, нельзя ли мне облегчить жизнь мою по учению того бога, который, по вашим словам, пришел спасти нас? мне отвечают: исполняй предписание властей и верь церкви. Но отчего же так дурно мы живем в этом мире? спрашивает отчаянный голос; зачем всё это зло, неужели нельзя мне своей жизнью не участвовать в этом зле? неужели нельзя облегчить это зло? Отвечают: нельзя. Желание твое прожить жизнь хорошо и помочь в этом другим есть гордость, *прелесть*. Одно, что можно — это спасти себя, свою душу для будущей жизни. Если же не хочешь участвовать в зле мира, то уйди из него. Путь этот открыт каждому, говорит учение церкви, но знай, что, избирая этот путь, ты должен уже не участвовать в жизни мира, а перестать жить и медленно сам убивать себя. Есть только два пути, говорят нам наши учителя: верить и повиноваться нам и властям и участвовать в том зле, которое мы учредили, или уйти из мира и идти в монастырь, не спать и не есть или на столбе гноить свою плоть, сгибаться и разгибаться и ничего не делать для людей; или признать учение Христа неисполнимым и потому признать освященную религией незаконность жизни; или отречься от жизни, что равносильно медленному самоубийству.

Как ни удивительно кажется понявшему учение Христа то заблуждение, по которому признается, что учение Христа очень хорошо для людей, но неисполнимо; но заблуждение, по которому признается, что человек, желающий не на словах, а на деле исполнять учение Христа, должен уйти из мира, — еще удивительнее.

Заблуждение это — что человеку лучше удалиться от мира, чем подвергаться искушениям мира, есть старое заблуждение, давно известное евреям, но совершенно чуждое не только духу христианства, но и иудаизму. Против этого-то заблуждения задолго еще до Христа написана повесть о пророке Ионе, столь любимая и часто приводимая Христом. Мысль повести от начала до конца одна: Иона пророк хочет один быть праведным и удаляется от развращенных людей. Но бог показывает ему, что он — пророк, что он затем только и нужен, чтобы сообщить заблудшим людям свое знание истины, а потому он не убегать должен от заблудших людей, а жить в общении с ними. Иона брезгает развращенными ниневитянами и убегает от них. Но как ни убегает Иона от своего назначения, бог приводит его через кита к ниневитянам, и делается то, чего хочет бог, т. е. ниневитяне принимают через Иону учение бога, — и жизнь их делается лучше. Но Иона не только не радуется тому, что он — орудие воли божией, но досадует, ревнует бога к ниневитянам, — ему хотелось бы одному быть разумным и хорошим. Он удаляется в пустыню, плачется на свою судьбу и упрекает бога. И тогда над Ионой вырастает в одну ночь тыква, защищающая его от солнца, а в другую ночь червь съедает эту тыкву. Иона еще отчаяннее упрекает бога за то, что дорогая ему тыква пропала. Тогда бог говорит ему: тебе жалко тыкву, которую ты называешь своей, она в одну ночь выросла и в одну ночь пропала, а мне разве не жалко было огромного народа, который погибал, живя как животные, не умея отличить правой руки от левой! Твое знание истины на то только и нужно было, чтобы передать его тем, которые не имели его.

Христос знал эту повесть и часто приводил ее, но, кроме того, в Евангелиях рассказано, как сам Христос после посещения удалившегося в пустыню Иоанна Крестителя, перед началом своей проповеди, подпал тому же искушению и как он был отведен диаволом (обманом) в пустыню для искушения, и как он победил этот обман и, в силе духа, вернулся в Галилею, и как с тех пор, уже не гнушаясь никакими развратными людьми, провел жизнь среди мытарей, фарисеев и грешников, научая их истине.¹¹

По церковному же учению Христос-богочеловек дал нам пример жизни. Всю известную нам жизнь свою Христос проводит в самом водовороте жизни: с мытарями, блудницами, в Иерусалиме, с фарисеями. Главные заповеди Христа — любовь к ближнему и проповедание другим его учения. И то и другое требует постоянного общения с миром. И вдруг из этого делается тот вывод, что по учению Христа надо уйти от всех, ни с кем не иметь никакого дела и стать на столб. Чтобы следовать примеру Христа, оказывается, что надо делать совершенно обратное тому, чему он учил, и тому, что он делал.

Учение Христа, по церковным толкованиям, представляется как для мирских людей, так и для монашествующих не учением о жизни — как сделать ее лучше для себя и для других, а учением о том, во что надо верить светским людям, чтобы, живя дурно, все-таки спастись на том свете, а для монашествующих — тем, как для себя сделать эту жизнь еще хуже, чем она есть.

Но Христос учит не этому.

Христос учит истине, и если истина отвлеченная есть истина, то она будет истиною и в действительности. Если жизнь в боге есть единая жизнь истинная, блаженная сама в себе, то она истинна, блаженна здесь, на земле, при всех возможных случайностях жизни. Если бы

¹¹ Луки IV, 1, 2. Христос отведен в пустыню обманом, чтобы там быть искушаемым. Матф. IV, 3, 4. Обман говорит Христу, что он не сын бога, если не может из камней сделать хлебы. Христос говорит: я могу жить без хлеба. Я жив тем, что вдунуто в меня богом. Тогда обман говорит: если ты жив тем, что вдунуто в тебя богом, то бросься с высоты, ты убьешь плоть, но дух, вдунутый в тебя богом, не погибнет. — Христос отвечает: жизнь моя во плоти есть воля бога. Убить свою плоть значит идти против воли бога — искушать бога. Матф. IV, 8—11. Тогда обман говорит: если так, то и служи плоти, как все люди, и плоть вознаградит тебя. — Христос отвечает: я бессилен над плотью, жизнь моя в духе, но уничтожить плоть я не могу, потому что дух вложен в мою плоть волею бога, и потому, живя во плоти, я могу служить только отцу своему, богу. И Христос идет из пустыни в мир.

жизнь здесь не подтверждала учения Христа о жизни, то это учение было бы не истинно.

Христос не призывает к худшему от лучшего, а, напротив — к лучшему от худшего. Он жалеет людей, которые ему представляются, как растерянные, погибающие без пастуха овцы, и обещает им пастуха и хорошее пастбище. Он говорит, что ученики его будут гонимы за его учение и должны терпеть и переносить гонения мира с твердостью. Но он не говорит, что, следуя его учению, они будут терпеть больше, чем следуя учению мира; напротив, он говорит, что те, которые будут следовать учению мира, те будут несчастны, а те, которые будут следовать его учению, те будут блаженны.

Христос учит не спасению верою, или аскетизму, т. е. обману воображения, или самовольным мучениям в этой жизни; но он учит жизни такой, при которой, кроме спасения от гибели личной жизни, еще и здесь, в этом мире, меньше страданий и больше радостей, чем при жизни личной.

Христос, открывая свое учение, говорит людям, что, исполняя его учение даже среди неисполняющих, они не будут от этого несчастливее, чем прежде, но, напротив, будут счастливее, чем те, которые не будут исполнять этого. Христос говорит, что есть верный мирской расчет не заботиться о жизни мира.

«И начал Петр говорить ему: вот мы оставили всё и последовали за тобой. Что нам будет? Иисус сказал в ответ: истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и евангелия и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной» (Матф. XIX, 27—29; Марк. X, 28—30; Луки XVIII, 28—30).

Христос, правда, упоминает, что тем, которые послушают его, предстоят гонения от тех, которые не послушают его; но он не говорит, чтобы ученики что-нибудь потеряли от этого. Напротив, он говорит, что ученики его будут иметь здесь, в мире этом, больше радостей, чем не ученики.

Что Христос говорит и думает это, в этом не может быть сомнения и по ясности его слов об этом, и по смыслу всего учения, и по тому, как он жил, и по тому, как жили его ученики. Но правда ли это?

Разбирая отвлеченно вопрос о том, чье положение будет лучше: учеников Христа или учеников мира? нельзя не видеть, что положение учеников Христа должно быть лучше уже потому, что ученики Христа, делая всем добро, не будут возбуждать ненависти в людях. Ученики Христа, не делая никому зла, могут быть гонимы только злыми людьми, ученики же мира должны быть гонимы всеми, так как закон жизни учеников мира есть закон борьбы, т. е. гонения друг друга. Случайности же страданий — те же, как для тех, так и для других, с тою только разницей, что ученики Христа будут готовы к ним, а ученики мира все силы души будут употреблять на то, чтобы избежать их, и что ученики Христа, страдая, будут думать, что их страдания нужны для мира, а ученики мира, страдая, не будут знать, зачем они страдают. Рассуждая отвлеченно, положение учеников Христа должно быть выгоднее положения учеников мира. Но так ли оно в действительности?

Чтобы проверить это, пусть всякий вспомнит все тяжелые минуты своей жизни, все телесные и душевные страдания, которые он перенес и переносит, и спросит себя: во имя чего он переносил все эти несчастья: во имя учения мира или Христа? Пусть всякий искренний человек вспомнит хорошенько всю свою жизнь, и он увидит, что никогда, ни одного раза он не пострадал от исполнения учения Христа; но большинство несчастий его жизни произошли только оттого, что он в противность своему влечению, следовал связывавшему его учению мира.

В своей исключительно в мирском смысле счастливой жизни я наберу страданий, понесенных мною во имя учения мира, столько, что их достало бы на хорошего мученика во имя Христа. Все самые тяжелые минуты моей жизни, начиная от студенческого пьянства и разврата до дуэлей, войны и до того нездоровья и тех неестественных и мучительных условий жизни, в которых я живу теперь, — всё это есть мученичество во имя учения мира.

Да, я говорю про свою еще исключительно счастливую в мирском смысле жизнь. А сколько мучеников, пострадавших и теперь страдающих за учение мира страданиями, которых я не могу даже живо представить себе.

Мы не видим всей трудности и опасности исполнения учения мира только потому, что мы считаем, что всё, что мы переносим для него, необходимо.

Мы уверились в том, что все те несчастья, которые мы сами себе делаем, суть необходимые условия нашей жизни, и потому не можем понять, что Христос учит именно тому, как нам избавиться от наших несчастий и жить счастливо.

Чтобы быть в состоянии обсудить вопрос о том, какая жизнь счастливее, нам надо хоть мысленно отрешиться от этого ложного представления и без предвзятой мысли оглянуться на себя и вокруг себя.

Пройдите по большой толпе людей, особенно городских, и взгляните в эти истомленные, тревожные, больные лица и потом вспомните свою жизнь и жизнь людей, подробности которой вам довелось узнать; вспомните все те насильственные смерти, все те самоубийства, о которых вам довелось слышать, и спросите: во имя чего все эти страдания, смерти и отчаяния, приводящие к самоубийствам? И вы увидите, как ни странно это кажется сначала, что девять десятых страданий людей несутся ими во имя учения мира, что все эти страдания не нужны и могли бы не быть, что большинство людей — мученики учения мира.

На днях, в осеннее дождливое воскресенье, я проехал по конке через базар Сухаревой башни. На протяжении полуверсты карета раздвигала сплошную толпу людей, тотчас же сдвигавшуюся сзади. С утра до вечера эти тысячи людей, из которых большинство голодные и оборванные, толкуются здесь в грязи, ругая, обманывая и ненавидя друг друга. То же происходит на всех базарах Москвы. Вечер люди эти проведут в кабаках и трактирах. Ночь — в своих углах и конурах. Воскресенье — это лучший день их недели. С понедельника в своих зараженных конурах они опять возьмутся за постылую работу.

Вдумайтесь в жизнь этих людей, в то положение, которое они оставили, чтобы избрать то, в которое они сами себя поставили, и вдумайтесь в тот неустанный труд, который вольно несут эти люди, — мужчины и женщины, — и вы увидите, что это — истинные мученики.

Все эти люди побросали дома, поля, отцов, братьев, часто жен и детей, — отреклись от всего, даже от самой жизни, и пришли в город для того, чтобы приобрести то, что по учению мира считается для каждого из них необходимым. И все они, не говоря уже о тех десятках тысяч несчастных людей, потерявших всё и перебивающихся требухой и водкой в ночлежных домах, — все, начиная от фабричного, извозчика, швеи, проститутки до богача-купца и министра и их жен, все несут самую тяжелую, неестественную жизнь и не приобрели того, что считается для них нужным по учению мира.

Поищите между этими людьми и найдите, от бедняка до богача, человека, которому бы хватало то, что он зарабатывает, на то, что он считает нужным, необходимым по учению мира, и вы увидите, что не найдете и одного на тысячу. Всякий бьется изо всех сил, чтобы приобрести то, что не нужно для него, но что требуется от него учением мира и отсутствие чего составляет его несчастье. И как только он приобретет то, что требуется, от него потребуются еще другое, и еще другое, и так без конца идет эта Сизифова работа, губящая жизни людей. Возьмите лестницу состояний от людей, проживающих в год триста рублей до пятидесяти тысяч, и вы редко найдете человека, который бы не был измучен, истомлен работой для приобретения 400, когда у него 300, и 500, когда у него 400, и так без конца. И нет ни одного, который бы, имея 500, добровольно перешел на жизнь того, у которого 400. Если и есть такие примеры, то и этот переход он делает не для того, чтобы облегчить свою жизнь, а для того, чтобы собрать деньги и спрятать. Всем нужно еще и еще отягчать трудом свою и так уже отягченную жизнь и душу свою без остатка отдать учению мира. Нынче приобрел поддевку и калоши, завтра — часы с цепочкой, послезавтра — квартиру с диваном и лампой, после — ковры в гостиную и бархатные одежды, после — дом, рысаков, картины в золотых рамах, после — заболел от непосильного труда и умер. Другой продолжает ту же работу и так же отдает жизнь тому же Молоху, так же умирает и так же сам не знает, зачем

он делал всё это. Но, может быть, сама эта жизнь, во время которой человек делает всё это, сама в себе счастлива?

Прикиньте эту жизнь на мерку того, что всегда все люди называют счастьем, и вы увидите, что эта жизнь ужасно несчастлива. В самом деле, какие главные условия земного счастья — такие, о которых никто спорить не будет?

Одно из первых и всеми признаваемых условий счастья есть жизнь такая, при которой не нарушена связь человека с природой, т. е. жизнь под открытым небом, при свете солнца, при свежем воздухе; общение с землей, растениями, животными. Всегда все люди считали лишение этого большим несчастьем. Заключение в тюрьмах сильнее всего чувствуют это лишение. Посмотрите же на жизнь людей, живущих по учению мира: чем большего они достигли успеха по учению мира, тем больше они лишены этого условия счастья. Чем выше то мирское счастье, которого они достигли, тем меньше они видят свет солнца, поля и леса, диких и домашних животных. Многие из них — почти все женщины — доживают до старости, раз или два в жизни увидав восход солнца и утро и никогда не видав полей и лесов иначе, как из коляски или из вагона, и не только не посеяв и не посадив чего-нибудь, не вскормив и не воспитав коровы, лошади, курицы, но не имея даже понятия о том, как рождаются, растут и живут животные. Люди эти видят только ткани, камни, дерево, обделанное людским трудом, и то не при свете солнца, а при искусственном свете; слышат они только звуки машин, экипажей, пушек, музыкальных инструментов; обоняют они спиртовые духи и табачный дым; под ногами и руками у них только ткани, камень и дерево; едят они по слабости своих желудков большей частью несвежее и вонючее. Переезды их с места на место не спасают их от этого лишения. Они едут в закрытых ящиках. И в деревне и за границей, куда они уезжают, у них те же камни и дерево под ногами, те же гардины, скрывающие от них свет солнца; те же лакеи, кучера, дворники, не допускающие их до общения с землей, растениями и животными. Где бы они ни были, они лишены, как заключенные, этого условия счастья. Как заключенные утешаются травкою, выросшей на тюремном дворе, пауком, мышью, так и эти люди утешаются иногда чахлыми комнатными растениями, попугаем, собачкой, обезьяной, которых все-таки растят и кормят не они сами.

Другое несомненное условие счастья есть труд, во-первых, любимый и свободный труд, во-вторых, труд физический, дающий аппетит и крепкий, успокаивающий сон. Опять, чем большего, по-своему, счастья достигли люди по учению мира, тем больше они лишены и этого другого условия счастья. Все счастливые мира — сановники и богачи, или, как заключенные, вовсе лишены труда и безуспешно борются с болезнями, происходящими от отсутствия физического труда, и еще более безуспешно со скукой, одолевающей их (я говорю: безуспешно — потому что работа только тогда радостна, когда она несомненно нужна; а им ничего не нужно), или работают ненавистную им работу, как банкиры, прокуроры, губернаторы, министры и их жены, устраивающие гостиные, посуды, наряды себе и детям. (Я говорю: ненавистную — потому, что никогда еще не встретил из них человека, который хвалил бы свою работу и делал бы ее хоть с таким же удовольствием, с каким дворник очищает снег перед домом.) Все эти счастливые или лишены работы, или приставлены к нелюбимой работе, т. е. находятся в том положении, в котором находятся каторжные.

Третье несомненное условие счастья — есть семья. И опять, чем дальше ушли люди в мирском успехе, тем меньше им доступно это счастье. Большинство — прелюбодеи и сознательно отказываются от радостей семьи, подчиняясь только ее неудобствам. Если же они и не прелюбодеи, то дети для них не радость, а обуза, и они сами себя лишают их, стараясь всякими, иногда самыми мучительными средствами сделать совокупление бесплодным. Если же у них есть дети, они лишены радости общения с ними. Они по своим законам должны отдавать их чужим, большей частью совсем чужим, сначала иностранцам, а потом казенным воспитателям, так что от семьи имеют только горе — детей, которые смолodu становятся так же несчастны, как родители, и которые по отношению к родителям

имеют, одно чувство — желание их смерти для того, чтобы наследовать им.¹² Они не заперты в тюрьме, но последствия их жизни по отношению к семье мучительнее того лишения семьи, которому подвергаются заключенные.

Четвертое условие счастья — есть свободное, любовное общение со всеми разнообразными людьми мира. И опять, чем высшей ступени достигли люди в мире, тем больше они лишены этого главного условия счастья. Чем выше, тем уже, теснее тот кружок людей, с которыми возможно общение, и тем ниже по своему умственному и нравственному развитию те несколько людей, составляющих этот заколдованный круг, из которого нет выхода. Для мужика и его жены открыто общение со всем миром людей, и если один миллион людей не хочет общаться с ним, у него остается 80 миллионов таких же, как он, рабочих людей, с которыми он от Архангельска до Астрахани, не дожидаясь визита и представления, тотчас же входит в самое близкое братское общение. Для чиновника с его женой есть сотни людей равных ему, но высшие не допускают его до себя, а низшие все отрезаны от него. Для светского богатого человека и его жены есть десятки светских семей. Остальное всё отрезано от них. Для министра и богача и их семей — есть один десяток таких же важных или богатых людей, как и они. Для императоров и королей кружок делается еще менее. — Разве это не тюремное заключение, при котором для заключенного возможно общение только с двумя-тремя тюремщиками?

Наконец пятое условие счастья есть здоровье и безболезненная смерть. И опять, чем выше люди на общественной лестнице, тем более они лишены этого условия счастья. Возьмите среднего богача и его жену и среднего крестьянина и его жену, несмотря на весь голод и непомерный труд, который, не по своей вине, но по жестокости людей, несет крестьянство, и сравните их. И вы увидите, что чем ниже, тем здоровее, и чем выше, тем болезненнее мужчины и женщины.

Переберите в своей памяти тех богачей и их жен, которых вы знаете и знали, и вы увидите, что большинство больные. Из них здоровый человек, не лечащийся постоянно или периодически летом, — такое же исключение, как больной в рабочем сословии. Все эти счастливицы без исключения начинают онанизмом, сделавшимся в их быту естественным условием развития; все беззубые, все седые или плешивые бывают в те года, когда рабочий человек начинает входить в силу. Почти все одержимы нервными, желудочными и половыми болезнями от объедения, пьянства, разврата и лечения, и те, которые не умирают молодыми, половину жизни своей проводят в лечении, в впрыскивании морфина или обрызгшими калекми, неспособными жить своими средствами, но могущими жить только как паразиты или те муравьи, которых кормят их рабы. Переберите их смерти: кто застрелился, кто сгнил от сифилиса, кто стариком умер от комфортатива, кто молодым умер от сечения, которому он сам подверг себя для возбуждения, кого живого съели вши, кого — черви, кто спился, кто объелся, кто от морфина, кто от искусственного выкидыша. Один за другим они гибнут во имя учения мира. И толпы лезут за ними и, как мученики, ищут страданий и гибели.

Одна жизнь за другую бросается под колесницу этого бога: колесница проезжает, раздирая их жизни, и новые и новые жертвы со стонами и воплями и проклятиями валятся под нее!

Исполнение учения Христа трудно. Христос говорит: кто хочет следовать мне, тот оставь дом, поля, братьев и иди за мной — богом, и тот получит в мире этом во сто раз больше домов, полей, братьев и, сверх того, жизнь вечную. И никто не идет. А учение мира

¹² Очень удивительно то оправдание такой жизни, которое часто слышишь от родителей. «Мне ничего не нужно, — говорит родитель, — мне жизнь эта тяжела, но, любя детей, я делаю это для них». То есть я несомненно опытом знаю, что наша жизнь несчастлива, и потому... я воспитываю детей так, чтобы они были так же несчастливы, как и я. И для этого я по своей любви к ним привожу их в полный физических и нравственных зараз город, отдаю их в руки чужих людей, имеющих в воспитании одну корыстную цель, и физически, и нравственно, и умственно старательно порчу своих детей. И это-то рассуждение должно служить оправданием неразумной жизни самих родителей!

сказало: брось дом, поля, братьев, уйди из деревни в гнилой город, живи всю свою жизнь банщиком голым, в пару намыливая чужие спины, или гостинодворцем, всю жизнь считая чужие копейки в подвале, или прокурором, всю жизнь свою проводя в суде и над бумагами, занимаясь тем, чтобы ухудшить участь несчастных, или министром, всю жизнь впопыхах подписывая ненужные бумаги, или полководцем, всю жизнь убивая людей, — живи этой безобразной жизнью, кончающейся всегда мучительной смертью, и ты ничего не получишь в мире этом и не получишь никакой вечной жизни. И все пошли. Христос сказал: возьми крест и иди за мной, т. е. неси покорно ту судьбу, которая выпала тебе, и повинуйся мне, богу, и никто не идет. Но первый потерянный, никуда, как на убийство, не годный человек в эполетах, которому это взбредет в голову, скажет: возьми не крест, а ранец и ружье и иди за мной на всякие мучения и на верную смерть, — и все идут.

Побросав семьи, родителей, жен, детей, одевшись в шутовские одежды и подчинив себя власти первого встречного человека, высшего чином, холодные, голодные, измученные непосильными переходами, они идут куда-то, как стадо быков на бойню; но они не быки, а люди. Они не могут не знать, что их гонят на бойню; с неразрешимым вопросом — зачем? и с отчаянием в сердце идут они и мрут от холода, голода и заразных болезней до тех пор, пока их не поставят под пули и ядра и не велят им самим убивать неизвестных им людей. Они бьют, и их бьют. И никто из бьющих не знает, за что и зачем. Турки жарят их живых на огне, кожу сдирают, разрывают внутренности. И завтра опять свистнет кто-нибудь, и опять все пойдут на страшные страдания, на смерть и на очевидное зло. И никто не находит, что это трудно. Не только те, которые страдают, но и отцы и матери не находят, что это трудно. Они даже сами советуют детям идти. Им кажется, что это не только так надо и что нельзя иначе, но что это даже хорошо и нравственно.

Можно бы поверить, что исполнение учения Христа трудно и страшно и мучительно, если бы исполнение учения мира было очень легко и безопасно и приятно. Но ведь учение мира много труднее, опаснее и мучительнее исполнения учения Христа.

Были когда-то, говорят, мученики Христа, но это было исключение; их насчитывают у нас 380 тысяч — вольных и невольных за 1800 лет; но сочтите мучеников мира, — и на одного мученика Христа придется тысяча мучеников учения мира, которых страдания в сто раз ужаснее. Одних убитых на войнах нынешнего столетия насчитывают тридцать миллионов человек.

Ведь это всё мученики учения мира, которым стоило бы не то что следовать учению Христа, а только не следовать учению мира, и они избавились бы от страданий и смерти.

Стоит человеку только сделать то, чего ему хочется, — отказаться от того, чтобы идти на войну, — и его послали бы копать канавы и не замучили бы в Севастополе и Плевне. Стоит человеку только не верить учению мира, что нужно надеть калоши и цепочку и иметь ненужную ему гостиную, и что не нужно делать все те глупости, которых требует от него учение мира, и он не будет знать непосильной работы и страданий и вечной заботы и труда без отдыха и цели; не будет лишен общения с природой, не будет лишен любимого труда, семьи, здоровья и не погибнет бессмысленно мучительной смертью.

Не мучеником надо быть во имя Христа, не этому учит Христос. Он учит тому, чтобы перестать мучить себя во имя ложного учения мира.

Учение Христа имеет глубокий метафизический смысл; учение Христа имеет общечеловеческий смысл; учение Христа имеет и самый простой, ясный, практический смысл для жизни каждого отдельного человека. Этот смысл можно выразить так: Христос учит людей не делать глупостей. В этом состоит самый простой, всем доступный смысл учения Христа.

Христос говорит: не сердись, не считай никого ниже себя, — это глупо. Будешь сердиться, обижать людей, — тебе же будет хуже. Христос говорит еще: не бегай за всеми женщинами, а сойди с одной и живи, — тебе будет лучше. Еще он говорит: не обещайся никому ни в чем, а то тебя заставят делать глупости и злодеяния. Еще говорит: за зло не плати злом, а то зло вернется на тебя еще злее, чем прежде, как подвешенная колода над

медом, которая убивает медведя. И еще говорит: не считай людей чужими только потому, что они живут в другой земле, чем ты, и говорят другим языком. Если будешь считать их врагами и они будут считать тебя врагом, — тебе же будет хуже. Итак, не делай всех этих глупостей, и тебе будет лучше.

«Да, — говорят на это, — но мир так устроен, что противиться его устройству еще мучительнее, чем жить согласно с ним. Откажись человек от военной службы, и его посадят в крепость, расстреляют, может быть. Не обеспечивай человек свою жизнь приобретением того, что нужно ему и семье, он и семья его умрут с голоду». — Так говорят люди, стараясь защитить устройство мира, но сами они не думают так. Они говорят так только потому, что им нельзя отрицать справедливости учения Христа, которому они будто бы верят, и им надо оправдаться как-нибудь в том, что они не исполняют этого учения. Но они не только не думают этого, но никогда даже вовсе не думали об этом. Они верят учению мира и только пользуются отговоркой, которой их научила церковь, — что, исполняя учение Христа, надо много страдать, и потому никогда даже и не пробовали исполнять учение Христа. Мы видим бесчисленные страдания, которые несут люди во имя учения мира, но страданий из-за учения Христа мы в наше время никогда уже не видим. Тридцать миллионов погибло за учение мира на войнах; тысячи миллионов погибло в мучительной жизни из-за учения мира, но не только миллионов, даже тысяч, даже десятков, даже ни одного человека я не знаю, который бы погиб смертью или мучительной жизнью с голода или холода из-за учения Христа. Это только смешная отговорка, доказывающая, до какой степени неизвестно нам учение Христа. Мало того, что мы не разделяем его, но мы никогда даже серьезно не принимали его. Церковь потрудились растолковать нам учение Христа так, что оно представляется не учением о жизни, а пугалом.

Христос призывает людей к ключу воды, которая тут, подле них. Люди томятся жаждой, едят грязь, пьют кровь друг друга, но учителя их сказали им, что они погибнут, если пойдут к тому ключу, к которому призывает Христос. И люди верят им, мучаются и мрут от жажды в двух шагах от воды, не смея подойти к ней. Но стоит только поверить Христу, что он принес благо на землю, поверить, что он дает нам, жаждущим, ключ воды живой, и прийти к нему, чтобы увидеть, как коварен обман церкви и как безумны наши страдания тогда, когда спасение наше так близко. Стоит прямо и просто принять учение Христа, чтобы ясен был тот ужасный обман, в котором живем все мы и живет каждый из нас.

Поколения за поколениями мы трудимся над обеспечением своей жизни посредством насилия и упрочения своей собственности. Счастье нашей жизни представляется нам в наибольшей власти и наибольшей собственности. Мы так привыкли к этому, что учение Христа о том, что счастье человека не может зависеть от власти и имени, что богатый не может быть счастлив, представляется нам требованием жертвы во имя будущих благ. Христос же и не думает призывать нас к жертве, он, напротив, учит нас не делать того, что хуже, а делать то, что лучше для нас здесь, в этой жизни. Христос, любя людей, учит их воздержанию от обеспечения себя насилием и от собственности так же, как, любя людей, учат их воздержанию от драки и пьянства. Он говорит, что, живя без отпора другим и без собственности, люди будут счастливее, и своим примером жизни подтверждает это. Он говорит, что человек, живущий по его учению, должен быть готов умереть во всякую минуту от насилия другого, от холода и голода, и не может рассчитывать ни на один час своей жизни. И нам кажется это страшным требованием каких-то жертв; а это только утверждение тех условий, в которых всегда неизбежно живет всякий человек. Ученик Христа должен был готов во всякую минуту на страдания и смерть. Но ученик мира разве не в том же положении? Мы так привыкли к нашему обману, что всё, что мы делаем для мнимого обеспечения нашей жизни: наши войска, крепости, наши запасы, наши одежды, наши лечения, всё наше имущество, наши деньги, кажется нам чем-то действительным, серьезно обеспечивающим нашу жизнь. Мы забываем то, что очевидно каждому, то, что случилось с тем, который задумал построить житницы, чтобы обеспечить себя надолго: он умер в ту же ночь. Ведь всё, что мы делаем для обеспечения нашей жизни, совершенно то же, что делает

страус, останавливаясь и пряча голову, чтобы не видеть, как его убивают. Мы делаем хуже страуса: чтобы сомнительно обеспечить не нашу сомнительную жизнь в сомнительном будущем, мы наверно губим нашу верную жизнь в верном настоящем.

Обман состоит в ложном убеждении, что жизнь наша может быть обеспечена нашей борьбой с другими людьми. Мы так привыкли к этому обману мнимого обеспечения своей жизни и своей собственности, что и не замечаем всего, что мы теряем из-за него. А теряем мы всё — всю жизнь. Вся жизнь поглощается заботой об этом обеспечении жизни, приготовлением к ней, так что жизни совсем не остается.

Ведь стоит на минуту отрешиться от своей привычки и взглянуть на нашу жизнь со стороны, чтобы увидеть, что всё, что мы делаем для мнимого обеспечения нашей жизни, мы делаем совсем не для того, чтобы обеспечить нашу жизнь, а только для того, чтобы, занимаясь этим, забывать о том, что жизнь никогда не обеспечена и не может быть обеспечена. Но мало того, что мы обманываем себя и губим свою настоящую жизнь для воображаемой, мы в этом стремлении к обеспечению чаще всего губим то самое, что мы хотим обеспечить. Французы вооружаются, чтобы обеспечить свою жизнь в 70-м году, и от этого обеспечения гибнут сотни тысяч французов; то же делают все вооружающиеся народы. Богач обеспечивает свою жизнь тем, что у него есть деньги. И самые деньги привлекают разбойника, который убивает его. Мнительный человек обеспечивает свою жизнь лечением, и самое лечение медленно убивает его, а если и не убивает его, то наверно лишает его жизни, как того расслабленного, который не жил 38 лет, а дожидался ангела у купели.

Учение Христа о том, что жизнь нельзя обеспечить, а надо всегда, всякую минуту быть готовым умереть, несомненно лучше, чем учение мира о том, что надо обеспечить свою жизнь; лучше тем, что неизбежность смерти и необеспеченность жизни остается та же при учении мира и при учении Христа, но сама жизнь, по учению Христа, не поглощается уже вся без остатка праздным занятием мнимого обеспечения своей жизни, а становится свободной и может быть отдана единой свойственной ей цели — благу себя и людей. Ученик Христа будет беден. Да, т. е. он будет пользоваться всегда всеми теми благами, которые ему дал бог. Он не будет губить свою жизнь. Мы назвали словом, выражающим беду — бедностью, то, что есть счастье; но само дело не изменилось от этого. Беден — это значит: он будет не в городе, а в деревне, не будет сидеть дома, а будет работать в лесу, в поле, будет видеть свет солнца, землю, небо, животных; не будет придумывать, что ему съесть, чтобы возбудить аппетит, и что сделать, чтоб сходить на час, а будет три раза в день голоден; не будет ворочаться на мягких подушках и придумывать, чем спастись от бессонницы, а будет спать; будет иметь детей, будет жить с ними, будет в свободном общении со всеми людьми, а главное, не будет делать ничего такого, чего ему не хочется делать; не будет бояться того, что с ним будет. Болесть, страдать, умирать он будет так же, как и все (судя по тому, как болеют и умирают бедные, — легче, чем богатые), но жить он будет несомненно счастливее. Быть бедным, быть нищим, быть бродягой (πτωχος значит бродяга), это то самое, чему учил Христос; то самое, без чего нельзя войти в царство бога, без чего нельзя быть счастливым здесь, на земле.

«Но никто не будет кормить тебя, и ты умрешь с голоду», говорят на это. На возражение о том, что человек, живя по учению Христа, умрет с голоду, Христос ответил одним коротким изречением (тем самым, которое толкуется так, что оно оправдывает праздность духовенства) (Матф. X, 10; Лук. X, 7).

Он сказал: «Не берите: ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха; ибо *трудящийся достоин* пропитания».

«В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть; ибо *трудящийся достоин* награды за труды свои».

Трудящийся достоин ἔξεδι — слово в слово значит: может и должен иметь пропитание. Это очень короткое изречение; но для того, кто поймет его так, как понимал его Христос, уже не может быть рассуждения о том, что человек, не имеющий собственности, умрет с голоду. Для того, чтобы понять это слово в его настоящем значении, надо прежде

всего отрешиться совершенно от сделавшегося, вследствие догмата искупления, столь привычным нам представлением о том, что блаженство человека есть праздность. Надо восстановить то свойственное всем неиспорченным людям представление о том, что необходимое условие счастья человека есть не праздность, а труд; что человек не может не работать, что ему скучно, тяжело, трудно не работать, как скучно, трудно не работать муравью, лошади и всякому животному. Надо забыть наше дикое суеверие о том, что положение человека, имеющего неразменный рубль, т. е. казенное место, или право на землю, или билеты с купонами, которые дают ему возможность ничего не делать, есть естественное счастливое состояние. Надо восстановить в своем представлении тот взгляд на труд, который имеют на него все неиспорченные люди и который имел Христос, говоря, что трудящийся достоин пропитания. Христос не мог представить себе людей, которые бы смотрели на работу как на проклятие, и потому не мог и представить себе человека, неработающего или желающего не работать. Он всегда подразумевает, что ученик его работает. И потому говорит: если человек работает, то работа кормит его. И если работу этого человека берет себе другой человек, то другой человек и будет кормить того, кто работает, именно потому, что пользуется его работой. И потому трудящийся всегда будет иметь пропитание. Собственности он не будет иметь; о пропитании же не может быть речи.

Разница между учением Христа и учением нашего мира о труде — в том, что по учению мира работа есть особенная заслуга человека, в которой он считается с другими и предполагает, что имеет право на большее пропитание, чем больше его работа; по учению же Христа: работа — труд есть необходимое условие жизни человека, а пропитание есть неизбежное последствие его. Работа производит пищу, пища производит работу — это вечный круг: одно — следствие и причина другого. Как бы зол ни был хозяин, он будет кормить работника так же, как будет кормить ту лошадь, которая работает на него, будет кормить так, чтобы работник мог сработать как можно больше, т. е. будет содействовать тому самому, что составляет благо человека.

«Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою в выкуп за многих». По учению Христа каждый отдельный человек независимо от того, каков мир, будет иметь наилучшую жизнь, если он поймет свое призвание — не требовать труда от других, а самому всю жизнь свою полагать на труд для других, жизнь свою отдавать, как выкуп за многих. Человек, поступающий так, говорит Христос, достоин пропитания, т. е. не может не получить его. Словами: человек не затем живет, чтобы на него работали, а чтобы самому работать на других, Христос устанавливает ту основу, которая, несомненно, обеспечивает материальное существование человека, а словами: трудящийся достоин пропитания, Христос устраняет то столь обыкновенное возражение против возможности исполнения учения, которое состоит в том, что человек, исполняющий учение Христа среди не исполняющих, погибнет от голода и холода. Христос показывает, что человек обеспечивает свое пропитание не тем, что он будет его отбирать от других, а тем, что он сделается полезен, нужен для других. Чем он нужнее для других, тем обеспеченнее будет его существование.

При теперешнем устройстве мира люди, не исполняющие законов Христа, но трудящиеся для ближнего, не имея собственности, не умирают от голода. Как же возражать против учения Христа, что исполняющие его учение, т. е. трудящиеся для ближнего, умрут от голода? Человек не может умереть от голода, когда есть хлеб у богатого. В России в каждую данную минуту есть всегда миллионы людей, живущих без всякой собственности, только трудом своим.

Среди язычников христианин будет точно так же обеспечен, как и среди христиан. Он работает на других, следовательно он нужен им, и потому его будут кормить. Собаку, которая нужна, и ту кормят и берегут; как же не кормить и не беречь человека, который всем нужен?

Но больной человек, человек с семейством, с детьми не нужен, не может работать, — и его перестают кормить, скажут те, которым непременно хочется доказать справедливость

зверской жизни. Они скажут это, они и говорят это, и сами не видят того, что они сами, говорящие это, и желали бы поступить так, да не могут и поступают совсем иначе. Эти самые люди, те, которые не признают приложимости учения Христа, — исполняют его. Они не перестают кормить овцу, быка, собаку, которая заболит. Они даже старую лошадь не убивают, а дают ей по силам работу; они кормят семейство, ягнят, поросят, щенят, ожидая от них пользы; так как же они не будут кормить нужного человека, когда он заболит, и как же не найдут посильной работы старому и малому, и как же не станут выращивать людей, которые будут на них же работать?

Они не только будут делать это, но они это самое и делают. Девять десятых людей — черный народ — выкармливается одной десятой не черных, а богатых и сильных людей, как рабочий скот. И как ни темно то заблуждение, в котором живет эта одна десятая, как ни презирает она остальных 9/10 людей, эта одна десятая сильных никогда не отнимает у 9/10 нужного пропитания, хотя и может это сделать. Она не отнимает у черного народа нужного для того, чтобы он плодился и работал на них. В последнее время эта 1/10 сознательно работает на то, чтобы 9/10 кормились правильно, т. е. могли бы выставлять, как можно больше работы, и на то, чтобы плодились и выкармливались новые рабочие. Муравьи — и те плодят и воспитывают своих дойных коровок; так как же людям не делать того же: плодить тех, которые на них работают? Рабочие нужны. И те, которые пользуются работой, всегда будут очень озабочены тем, чтобы эти рабочие не переводились.

Возражение против исполнимости учения Христа, состоящее в том, что если я не буду приобретать для себя и удерживать приобретенное, то никто не станет кормить мою семью, справедливо, но только по отношению к праздным, бесполезным и потому вредным людям, каково большинство нашего богатого сословия. Праздных людей никто воспитывать не станет, кроме безумных родителей, потому что праздные люди никому, даже самим себе, не нужны; но людей-работников даже самые злые люди будут кормить и воспитывать. Телят воспитывают, а человек есть рабочее животное, более полезное, чем бык, как оно и ценилось всегда на базаре рабов. Вот почему дети никогда не могут остаться без призрения.

Человек не затем живет, чтобы на него работали, а чтобы самому работать на других. Кто будет трудиться, того будут кормить.

Это — истины, подтверждаемые жизнью всего мира.

До сих пор, всегда и везде, где человек трудился, он получал пропитание, как всякая лошадь получала корм. И такое пропитание получал трудящийся невольно, неохотно, ибо трудящийся желал одного — избавиться от труда, приобрести как можно больше и сесть на шею того, кто у него сидит на шее. Такой невольно, неохотно трудящийся, завистник и злой работник не оставался без пропитания и оказывался счастливее даже того, который не трудился и жил чужими трудами. Насколько же счастливее будет тот трудящийся по учению Христа, которого цель будет состоять в том, чтобы сработать как можно больше и получить как можно меньше? И насколько еще будет счастливее его положение, когда вокруг него еще будет хоть несколько, а может быть и много таких же, как он, людей, которые будут служить и ему.

Учение Христа о труде и плодах его выражено в рассказе о насыщении 5 и 7 тысяч двумя рыбами и пятью хлебами. Человечество будет иметь высшее доступное ему благо на земле, когда люди не будут стараться поглотить и потратить всё каждый для себя, но когда они будут делать, как научил их Христос на берегу моря.

Надо было накормить тысячи людей. Ученик Христа сказал ему, что видел у одного человека несколько рыб; у учеников тоже было несколько хлебов. Иисус понял, что у людей, пришедших издалека, у некоторых есть с собой пища, а у некоторых нет. (То, что у многих были с собой запасы, доказывает уже то, что во всех четырех Евангелиях сказано, что по окончании еды остатки собраны были в 12 корзин. Если бы ни у кого, кроме как у мальчика, ничего не было, то и не могло бы быть 12 корзин в поле.) Если бы Христос не сделал того, что он сделал, т. е. чудо насыщения тысячи народа пятью хлебами, то было бы то, что происходит теперь в мире. Те, у которых были запасы, съели бы то, что у них было, съели бы

всё через силу даже, чтобы ничего не оставалось. Скупые, может быть, унесли бы домой свои остатки. Те, у которых ничего не было, остались бы голодными, с злобной завистью смотрели бы на ядущих, а может быть, некоторые из них утащили бы у запасливых, и произошли бы ссоры и драки, и одни пошли бы домой пресыщенные, другие — голодные и сердитые; было бы то же самое, что происходит в нашей жизни.

Но Христос знал, что он хотел сделать (как и сказано в Евангелии), он велел всем сесть кругом¹³ и научил учеников предлагать другим то, что у них было, и говорить другим, чтобы они делали то же. И тогда вышло то, что когда все те, у которых были запасы, сделали то же, что ученики Христа, т. е. свое предлагали другим, то все ели в меру, и когда обошли круг, то досталось и тем, которые не ели сначала. И все насытились, и осталось еще много хлеба, так много, что собрали 12 корзин.

Христос учит людей, что так сознательно они должны поступать в жизни потому, что таков закон человека и всего человечества. Труд есть необходимое условие жизни человека. И труд же дает благо человеку. И потому удержание от других людей плодов своего или чужого труда препятствует благу человека. Отдавание своего труда другим содействует благу человека.

«Если люди не будут отнимать один у другого, то они будут умирать с голоду», говорим мы. Казалось бы, надо сказать обратное: если люди будут силой отнимать один у другого, то будут люди, которые умрут с голоду, как оно и есть.

Ведь всякий человек, как бы он ни жил, — по учению ли Христа, или по учению мира, — он жив только трудом других людей. Другие люди и уберегли его, и вспоили, и вскормили его, и берегут, и поят, и кормят. Но по учению мира человек насилием и угрозой заставляет других людей продолжать кормить себя и свою семью. По учению Христа человек точно так же бережен, вскормлен и вспоен другими людьми; но для того, чтобы другие люди продолжали беречь, поить и кормить его, он никого к этому не принуждает, а сам старается служить другим, быть как можно полезнее всем, и тем становится нужным для всех. Люди мира всегда будут желать перестать кормить ненужного им человека, насилием заставляющего их кормить себя, и при первой возможности не только перестают кормить, но и убивают его, как ненужного. Но всегда все люди, как бы злы они ни были, будут старательно кормить и беречь работающего на них.

Как же вернее, разумнее и радостнее жить: по учению мира или по учению Христа?

XI

Учение Христа устанавливает царство бога на земле. Несправедливо то, чтобы исполнение этого учения было трудно: оно не только не трудно, но неизбежно для человека, узнавшего его. Учение это дает единственно возможное спасение от неизбежно предстоящей гибели личной жизни. Наконец, исполнение этого учения не только не призывает к страданиям и лишениям в этой жизни, но избавляет от девяти десятых страданий, которые мы несем во имя учения мира.

И, поняв это, я спросил себя: отчего же я до сих пор не исполнял этого учения, дающего мне благо, спасение и радость, а исполнял совсем другое — то, что делало меня несчастным? И ответ мог быть и был только один: я не знал истины, она была скрыта от меня.

Когда мне открылся в первый раз смысл Христова учения, я никак не думал, что разъяснение этого смысла приведет меня к отрицанию учения церкви. Мне казалось только, что церковь не дошла до тех выводов, которые вытекают из учения Христа, но я никак не думал, что новый открывшийся мне смысл учения Христа и выводы из него разъединят меня с учением церкви. Я боялся этого. И потому во время своих исследований я не только не

¹³ [Ударение Толстого.]

отыскивал ошибки церковного учения, напротив, умышленно закрывал глаза на те положения, которые мне казались неясными и странными, но не противоречили тому, что я считал сущностью христианского учения.

Но чем дальше я шел в изучении Евангелий, чем яснее открывался мне смысл учения Христа, тем неизбежнее становился для меня выбор: учение Христа разумное, ясное, согласное с моею совестью и дающее мне спасение, или учение прямо противоположное, не согласное с моим разумом и совестью и не дающее мне ничего, кроме сознания гибели вместе с другими. И я не мог не откидывать одно за другим положения церкви. Я делал это нехотя, с борьбой, с желанием смягчить сколько возможно мое разногласие с церковью, не отделяться от нее, не лишиться самой радостной поддержки в вере — общения со многими. Но когда я кончил свою работу, я увидел, что, как я ни старался удержать хоть что-нибудь от учения церкви, от него ничего не осталось. Мало того, что ничего не осталось, я убедился в том, что и не могло ничего остаться.

Уже при окончании моей работы случилось следующее: мальчик, сын мой, рассказал мне, что между двумя совсем необразованными, еле грамотными людьми, служащими у нас, шел спор по случаю статьи какой-то духовной книжки, в которой сказано, что не грех убивать людей преступников и убивать на войне. Я не поверил тому, чтобы это могло быть напечатано, и попросил показать книжку. Книжечка, вызвавшая спор, называется: «Толковый молитвенник». Издание третье (восьмой десяток тысяч). Москва, 1879 г. На странице 163-й этой книжки сказано:

«Какая шестая заповедь божия? — Не убий. Не убий — не убивай. — Что бог запрещает этой заповедью? — Запрещает убивать, т. е. лишать жизни человека. — Грех ли наказывать по закону преступника смертью и убивать неприятеля на войне? «Не грех. Преступника лишают жизни, чтобы прекратить великое зло, которое он делает; неприятеля убивают на войне потому, что на войне сражаются за государя и отечество». И этими словами ограничивается объяснение того, почему отменяется заповедь бога. Я не поверил своим глазам.

Спорящие спросили моего мнения о своем споре. Я сказал тому, который признавал справедливость напечатанного, что это объяснение неправильно.

«Как же так печатают неправильно против закона?» спросил он. Я ничего не мог ему ответить. Я оставил книгу и просмотрел ее всю. Книга содержит: 1) 31 молитву с поучениями о коленопреклонениях и сложении перстов; 2) объяснение символа веры; 3) ничем не объясненные выписки из 5-й главы Матфея, почему-то названные заповедями для получения блаженства; 4) десять заповедей с объяснениями, большей частью упраздняющими их, и 5) тропари на праздники.

Как я говорил, я не только старался избегать осуждения церковной веры, я старался видеть ее с самой хорошей стороны и потому не отыскивал ее слабостей и, хорошо зная ее академическую литературу, я был совершенно незнаком с ее учительной литературой. Распространенный в таком огромном количестве экземпляров еще в 1879 г. молитвенник, вызывающий сомнения самых простых людей, поразил меня.

Я не мог верить, чтобы чисто языческое, не имеющее ничего христианского, содержание молитвенника было сознательно распространяемое в народе церковью учение. Чтобы проверить это, я купил все изданные синодом или «с благословения» его книги, содержащие краткие изложения церковной веры для детей и народа, и перечитал их.

Содержание их было для меня почти новое. В то время как я учился закону божию, этого еще не было. Не было, сколько мне помнится, заповедей блаженств, не было и учения о том, что убивать *не грех*. Во всех старых русских катехизисах этого нет. Нет ни в катехизисе Петра Могилы, ни в катехизисах Платона, ни в катехизисе Беякова, нет и в кратких католических катехизисах. Нововведение это сделано Филаретом, составившим также катехизис для военного сословия. Толковый молитвенник составлен по этому катехизису. Основная книга есть «Пространный *христианский* катехизис православной церкви» для употребления *всех* православных *христиан*, изданный по высочайшему его

императорского величества повелению.

Книга разделена на три части: о вере, надежде и любви. В первой разбор Никейского символа веры. Во второй разбор молитвы господней и восьми стихов пятой главы Матфея, составляющих вступление к нагорной проповеди и почему-то названных заповедями для получения блаженства. (В обеих частях этих трактуется о догматах церкви, молитвах и таинствах, но нет никакого учения о жизни.) В 3-й части излагаются обязанности христианина. В этой части, названной: «о любви», излагаются не заповеди Христа, а 10 заповедей Моисея. И заповеди Моисея излагаются как будто только для того, чтобы научить людей не исполнять их и поступать противно им. После каждой заповеди оговорка, уничтожающая заповедь. По случаю первой заповеди, повелевающей почитать одного бога, катехизис научает почитать ангелов и святых, не говоря уже о матери бога и трех лицах бога («Прост. катех.», стр. 107—108). По случаю второй заповеди — не сотворять кумира — катехизис научает поклонению иконам (стр. 108). По случаю третьей заповеди — не клясться напрасно — катехизис научает людей клясться по всякому требованию *законной* власти (стр. 111). По случаю четвертой заповеди — о праздновании субботы — катехизис научает праздновать не субботу, а воскресенье и 13 праздников больших и множество малых и поститься все посты, среды и пятницы (стр. 112—115). По случаю пятой заповеди — почитать отца и мать — катехизис научает «почитать государя, отечество пастырей духовных, *начальствующих в разных отношениях*» (sic); и о почитании начальствующих — три страницы с перечислением всех сортов начальствующих. «Начальствующие в училищах, начальники гражданские, судьи, начальники военные, господа» (sic) *в отношении к тем, которые им служат и которыми они владеют*» (sic) (стр. 116—119). (Я цитирую из катехизиса издания 64-го 1880 года. Двадцать лет прошло с уничтожения рабства, и никто не позаботился даже выкинуть ту фразу, которая по случаю повеления бога почитать родителей была вписана в катехизис для поддержания и оправдания рабства.)

По случаю 6-й заповеди — не убий — люди с первых же строк научаются убивать.

«В. — Что запрещается 6-й заповедью?

«О. — Убийство или отнятие жизни у ближнего каким бы то ни было образом.

«В. — Всякое ли отнятие жизни есть законопреступное убийство?

«О. — Не есть незаконное убийство, когда отнимают жизнь по должности, как-то:

«1) когда преступника *наказывают* смертью по правосудию;

«2) когда убивают неприятеля *на войне* за государя и отечество» (курсивы в подлиннике). И дальше:

«В. — Какие случаи относиться могут к законопреступному убийству?

«О. — 2) когда кто *укрывает или освобождает* убийцу».

И это печатается и насильно в сотнях тысяч экземпляров и под страхом угроз и наказаний внушается всем русским людям под видом христианского учения. Этому учат весь русский народ. Этому учат *всех* невинных ангелов-детей, — тех детей, которых Христос просит не отгонять от себя, потому что их есть царствие божие, — тех детей, на которых нам надо быть похожими, чтобы войти в царство бога, похожими тем, чтобы не знать этого, — тех детей, ограждая которых Христос сказал: горе тому, кто соблазнит единого из малых сих. И этих-то детей насильно учат этому, говоря им, что это единственный священный закон бога.

Это не прокламации, которые распространяются тайно, под страхом каторги, а это прокламации, несогласие с которыми наказывается каторгой. Я теперь пишу это, и мне жутко только за то, что я позволяю себе сказать, что нельзя отменять главную заповедь бога, написанную во всех законах и во всех сердцах, ничего не объясняющими словами: *по должности, за государя и отечество*, и что не должно учить этому людей.

Да, сделалось то, о чем Христос предупреждал людей (Лук. XI, 33—36, и Матф. VI, 23), говоря: смотрите, не сделался бы свет, находящийся в вас, тьмою. Если свет, который есть в тебе, стал тьмою, то какова же тьма?

Свет, находящийся в нас, стал тьмою. И тьма, в которой мы живем, стала ужасна.

«Горе вам, — сказал Христос, — горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, за то, что заперли вы от людей царство небесное. Сами не вошли и не даёте другим войти в него. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, за то, что поедаете дома вдов и на виду молитесь подолгу. За это вы ещё больше виноваты. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, за то, что обходите моря и земли, чтобы обратиться в свою веру, а когда обратитесь, то сделаете обращённого хуже, чем он был. Горе вам, вожаки слепые!...

«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророков, украшаете памятники праведников. И вы полагаете, что если бы вы жили в те дни, когда замучены были пророки, то вы бы не были участниками в их крови. Так вы сами свидетельствуете против себя о том, что вы такие же, как те, которые били пророков. Дополняйте же меру, начатую подобными вам. И вот пошлю вам пророков мудрых и книжников; и иных вы убьёте и распнете, а иных будете бить в ваших собраниях и будете высылать из города в город. И да падёт на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от Авеля».

«Всякая хула (клевета) прощается людям, но не может быть прощена клевета на святой дух».

Ведь всё это точно вчера написано против тех людей, которые теперь уже не обходят моря и земли, клеветая на святой дух и приводя людей к вере, делающей этих людей худшими, но прямо насилием заставляют их принимать эту веру и преследуют и губят всех тех пророков и праведников, которые пытаются разрушить их обман.

И я убедился, что церковное учение, несмотря на то, что оно назвало себя христианским, есть та самая тьма, против которой боролся Христос и велел бороться своим ученикам.

Учение Христа, как и всякое религиозное учение, включает в себе две стороны: 1) учение о жизни людей — о том, как надо жить каждому отдельно и всем вместе — этическое, и 2) объяснение, почему людям надо жить именно так, а не иначе — метафизическое учение. Одно есть следствие и вместе причина другого. Человек должен жить так потому, что таково его назначение, или назначение человека таково, и потому он должен жить так. Эти две стороны всякого учения находятся во всех религиях мира. Такова религия браминов, Конфуция, Будды, Моисея, такова же и религия Христа. Она учит жизни, как жить, и даёт объяснение, почему именно надо так жить. Но как было со всеми учениями: браминизмом, иудаизмом, буддизмом, так было и с учением Христа. Люди отступают от учения о жизни, и из числа людей являются такие, которые берутся оправдать это отступление. Люди эти, садящиеся, по выражению Христа, на седалище Моисея, разъясняют метафизическую сторону учения так, что этические требования учения становятся необязательными и заменяются внешним богопочитанием — обрядами. Это явление обще всем религиям, но *никогда*, мне кажется, это явление не выразилось с такою резкостью, как в христианстве. Оно выразилось особенно резко потому, что учение Христа есть самое высшее учение; а самое высшее оно потому, что метафизика и этика учения Христа до такой степени неразрывно связаны и определяются одна другою, что отделить одну от другой нельзя, не лишив всё учение его смысла, и ещё потому, что Христово учение есть уже само по себе протестантизм, т. е. отрицание не только обрядных постановлений иудаизма, но и всякого внешнего богопочитания. И потому в христианстве разрыв этот должен был уже совершенно извратить учение и лишить его всякого смысла. Так оно и было. Разрыв между учением о жизни и объяснением жизни начался с проповеди Павла, не знавшего этического учения, выраженного в Евангелии Матфея, и проповедовавшего чуждую Христу метафизическо-каббалистическую теорию, и совершился этот разрыв окончательно во время Константина, когда найдено было возможным весь языческий строй жизни, не изменяя его, облечь в христианские одежды и потому признать христианским.

Со времени Константина, язычника из язычников, которого церковь за все его преступления и пороки причисляет к лику христианских святых, начинаются соборы, и центр тяжести христианства переносится на одну метафизическую сторону учения. И это

метафизическое учение с сопутствующими ему обрядами, всё более и более отклоняясь от основного смысла своего, доходит до того, до чего оно дошло теперь: до учения, которое объясняет самые недоступные разуму человеческому тайны жизни небесной, дает сложнейшие обряды богослужебные, но не дает *никакого* религиозного учения о жизни земной.

Все религии, кроме церковно-христианской, требуют от исповедующих их, кроме обрядов, исполнения еще известных хороших поступков и воздержания от дурных. Иудаизм требует обрезания, соблюдения субботы, милостыни, юбилейного года и еще многого другого. Магометанство требует обрезания, ежедневной пятикратной молитвы, десятины бедным, поклонения гробу пророка и многого другого. То же и все другие религии. Хороши ли, дурны ли эти требования, но это требования поступков. Только псевдо-христианство не требует ничего. Нет ничего, что бы обязательно должен был делать христианин и от чего он должен бы был обязательно воздерживаться, если не считать постов и молитв, самой церковью признаваемых необязательными. Всё, что нужно для псевдо-христианина, — это таинства. Но таинство не делает сам верующий, а над ним его производят другие. Псевдо-христианин ничего не обязан делать и ни от чего не обязан воздерживаться для того, чтобы спастись, но над ним церковью совершается всё, что для него нужно: его и окрестят, и помажут, и причастят, и особоруют, и исповедуют даже глухою исповедью, и помолятся за него — и он спасен. Христианская церковь со времен Константина не потребовала никаких поступков от своих членов. Она даже не заявляла никаких требований воздержания от чего бы то ни было. Христианская церковь признала и осватила всё то, что было в языческом мире. Она признала и осватила и развод, и рабство, и суды, и все те власти, которые были, и войны, и казни, и требовала при крещении только словесного, и то только сначала, отречения от зла; но потом при крещении младенцев перестали требовать даже и этого.

Церковь, на словах признавая учение Христа, в жизни прямо отрицала его.

Вместо того чтобы руководить миром в его жизни, церковь в угоду миру перетолковала метафизическое учение Христа так, что из него не вытекало никаких требований для жизни, так что оно не мешало людям жить так, как они жили. Церковь раз уступила миру, а раз уступив миру, она пошла за ним. Мир делал всё, что хотел, предоставляя церкви, как она умеет, попевать за ним в своих объяснениях смысла жизни. Мир учреждал свою, во всем противную учению Христа жизнь, а церковь придумывала иносказания, по которым бы выходило, что люди, живя противно закону Христа, живут согласно с ним. И кончилось тем, что мир стал жить жизнью, которая стала хуже языческой жизни, и церковь стала не только оправдывать эту жизнь, но утверждать, что в этом-то и состоит учение Христа.

Но пришло время и свет истинного учения Христа, которое было в Евангелиях, несмотря на то, что церковь, чувствуя свою неправду, старалась скрывать его (запрещая переводы Библии), — пришло время, и свет этот через так называемых сектантов, даже через вольнодумцев мира проник в народ, и неверность учения церкви стала очевидна людям, и они стали изменять свою прежнюю, оправданную церковью жизнь на основании этого помимо церкви дошедшего до них учения Христа.

Так, сами люди помимо церкви уничтожили рабство, оправдываемое церковью, уничтожили сословия, уничтожили оправдываемые церковью религиозные казни, уничтожили освященную церковью власть императоров, пап и теперь начали стоящее на очереди уничтожение собственности и государств. И церковь ничего не отстаивала и теперь не может отстаивать, потому что уничтожение этих неправд жизни происходило и происходит на основании того самого христианского учения, которое проповедовала и проповедует церковь, хотя и стараясь извратить его.

Учение о жизни людей эмансипировалось от церкви и установилось независимо от нее.

У церкви остались объяснения, но объяснения чего? Метафизическое объяснение учения имеет значение, когда есть то учение жизни, которое оно объясняет. Но у церкви не осталось никакого учения о жизни. У ней было только объяснение той жизни, которую она когда-то учреждала и которой уже нет. Если остались еще у церкви объяснения той жизни,

которая была когда-то прежде, как объяснения катехизиса о том, что *по должности* должно убивать, то никто уже не верит в это. И у церкви ничего не осталось, кроме храмов, икон, парчи и слов.

Церковь пронесла свет христианского учения о жизни через 18 веков и, желая скрыть его в своих одеждах, сама сожглась на этом свете. Мир с своим устройством, освященным церковью, отбросил церковь во имя тех самых основ христианства, которые нехотя пронесла церковь, и живет без нее. Факт этот совершился, — и скрывать его уже невозможно. Всё, что точно живет, а не уныло злобится, не живя, а только мешая жить другим, всё живое в нашем европейском мире отпало от церкви и всяких церквей и живет своей жизнью независимо от церкви. И пусть не говорят, что это — так в гнилой Западной Европе; наша Россия своими миллионами рационалистов-христиан, образованных и необразованных, отбросивших церковное учение, бесспорно доказывает, что она, в смысле отпадения от церкви, слава богу, гораздо гнилее Европы.

Всё живое независимо от церкви.

Государственная власть зиждется на предании, на науке, на народном избрании, на грубой силе, на чем хотите, но только не на церкви.

Войны, отношения государств устанавливаются на принципе народности, равновесии, на чем хотите, только не на церковных началах. Государственные учреждения прямо игнорируют церковь. Мысль о том, чтобы церковь могла быть основой суда, собственности, в наше время только смешна. Наука не только не содействует учению церкви, но нечаянно, невольно в своем развитии всегда враждебна церкви. Искусство, прежде служившее одной церкви, теперь всё ушло от нее. Мало того, что жизнь вся эманципировалась от церкви, жизнь эта не имеет другого отношения к церкви, кроме презрения, пока церковь не вмешивается в дела жизни, и ничего, кроме ненависти, как только церковь пытается напомнить ей свои прежние права. Если еще существует та форма, которую мы называем церковью, то только потому, что люди боятся разбить сосуд, в котором было когда-то драгоценное содержимое; только этим можно объяснить существование в наш век католичества, православия и разных протестантских церквей.

Все церкви — католическая, православная и протестантская — похожи на караульщиков, которые заботливо караулят пленника, тогда как пленник уже давно ушел и ходит среди караульщиков и даже воюет с ними. Всё то, чем истинно живет теперь мир: социализм, коммунизм, политико-экономические теории, утилитаризм, свобода и равенство людей и сословий и женщин, все нравственные понятия людей, святость труда, святость разума, науки, искусства, всё, что ворочает миром и представляется церкви враждебным, всё это — части того же учения, которое, сама того не зная, пронесла с скрываемым ею учением Христа та же церковь.

В наше время жизнь мира идет своим ходом, совершенно независимо от учения церкви. Учение это осталось так далеко назад, что люди мира не слышат уже голосов учителей церкви. Да и слушать нечего, потому что церковь только дает объяснения того устройства жизни, из которого уже вырос мир и которого или уже вовсе нет, или которое неудержимо разрушается.

Люди плыли в лодке и гребли, а кормщик правил. Люди вверились кормщику, и кормщик правил хорошо; но пришло время, что хорошего кормщика заменил другой, который не правил. Лодка пошла скоро и легко. Сначала люди не замечали того, что новый кормщик не правит, и только радовались тому, что лодка шла легко. Но потом, убедившись, что новый кормщик не нужен, они стали смеяться над ним — и прогнали его.

Всё бы это ничего, но горе в том, что люди под влиянием досады на бесполезного кормщика забыли, что без кормщика не знаешь, куда плывешь. Это самое случилось с нашим христианским обществом. Церковь не правит, и легко плыть, и мы далеко уплыли, и все успехи знаний, которыми так гордится наш XIX век, это — только то, что мы плывем без руля. Мы плывем, не зная куда. Мы живем и делаем эту свою жизнь и решительно не знаем, зачем. А нельзя плыть и грести, не зная, куда плывешь, и нельзя жить и делать свою жизнь,

не зная, зачем?

Ведь если бы люди ничего сами не делали, а были поставлены внешней силой в то положение, в котором они находятся, они бы могли на вопрос: зачем вы в таком положении? совершенно разумно ответить: мы не знаем, но мы очутились в таком положении и находимся в нем. Но люди делают свое положение сами для себя, для других и в особенности для своих детей, и потому на вопросы: зачем вы собираете и сами собирались в миллионы войск, которыми вы убиваете и увечите друг друга? зачем вы тратили и тратите страшные силы людские, выражающиеся миллиардами, на постройку ненужных и вредных вам городов, зачем вы устраиваете свои игрушечные суды и посылаете людей, которых считаете преступными, из Франции в Казню, из России в Сибирь, из Англии в Австралию, когда вы сами знаете, что это бессмысленно? зачем вы оставляете любимое вами земледелие и трудитесь на фабриках и заводах, которые вы сами не любите? зачем воспитываете детей так, чтобы они продолжали эту не одобряемую вами жизнь? зачем вы всё это делаете? На это вы не можете не ответить. Если бы всё это были приятные дела, которые бы вы любили, вы и тогда должны бы были сказать: зачем вы это. делаете? Но когда это ужасно трудные дела и вы их делаете с усилием и ропотом, то нельзя же вам не думать о том, зачем вы всё это делаете. Надо или перестать делать всё это, или ответить, зачем мы это делаем.

Без ответа на этот вопрос люди никогда не жили и не могут жить. И ответ всегда был у людей.

Иудей жил так, как он жил, т. е. воевал, казнил людей, строил храм, устраивал всю свою жизнь так, а не иначе, потому что всё это было предписано в законе, по убеждению его, сошедшем от самого бога. То же самое для индийца, китайца; то же самое было для римлянина, то же самое и для магометанина; то же самое было и для христианина за 100 лет тому назад; то же самое и теперь для невежественной толпы христиан. На вопросы эти невежественный христианин теперь отвечает так: солдатчина, войны, суды, казни, всё это существует по закону бога, передаваемому нам церковью. Здешний мир есть мир падший. Всё зло, которое существует, существует по воле бога, как наказание за грехи мира, и потому исправлять это зло мы не можем. Мы можем только спасать свою душу верою, таинствами, молитвами и покорностью воле божией, передаваемой нам церковью. Церковь же учит нас, что каждый христианин должен беспрекословно повиноваться царям, помазанникам Божиим, и поставленным от них начальникам, ограждать насилием свою и чужую собственность, воевать, казнить и переносить казни по воле Богом поставленных властей.

Хороши ли, дурны ли эти объяснения, но они объясняли для верующего христианина, как для иудея, буддиста и магометанина, все особенности жизни, и человек не отрекался от разума, живя по закону, который он признавал за божественный. Но теперь пришло время, что в эти объяснения верят только самые невежественные люди, и число таких людей с каждым днем и с каждым часом всё уменьшается. Остановить это движение нет никакой возможности. Все люди неудержимо идут за теми, которые идут впереди, и все придут туда, где стоят передовые. Передовые же стоят над пропастью. Передовые эти находятся в ужасном положении: они делают жизнь для себя, готовят жизнь для всех тех, которые идут за ними, и находятся в совершенном неведении того, зачем они делают то, что делают. Ни один цивилизованный передовой человек теперь не в состоянии дать ответ на прямой вопрос: зачем ты живешь тою жизнью, которой ты живешь? Зачем делаешь всё то, что ты делаешь? Я пробовал спрашивать об этом и спрашивал у сотен людей, и никогда не получал прямого ответа. Всегда, вместо прямого ответа на личный вопрос: зачем ты так живешь и так делаешь, всегда я получал ответ не на мой вопрос, а на вопрос, которого я не делал.

Верующий католик, протестант, православный на вопрос: зачем он живет так, как он живет, т. е. противно тому учению Христа бога, которое он исповедует? всегда вместо прямого ответа начинает говорить о плачевном состоянии безверия нынешнего поколения, о злых людях, производящих безверие, и о значении и будущности истинной церкви. Но почему он сам не делает того, что велит ему его вера, он не отвечает. Вместо ответа о себе он говорит об общем состоянии человечества и о церкви, словно его собственная жизнь не

имеет для него никакого значения, а он занят только спасением всего человечества и тем, что он называет церковью.

Философ, какого бы он ни был толка — идеалист, спиритуалист, пессимист, позитивист, — на вопрос: зачем он живет так, как он живет, т. е. несогласно с своим философским учением? — всегда вместо ответа на этот вопрос заговорит о прогрессе человечества, о том историческом законе этого прогресса, который он нашел и по которому человечество стремится к благу. Но он никогда прямо не ответит на вопрос: почему он сам в своей жизни не делает того, что считает разумным? Философ, так же как и верующий, как будто озабочен не своею личной жизнью, а только наблюдением над общими законами всего человечества.

Средний человек, огромное большинство полуверующих, полуневерующих цивилизованных людей, тех, которые всегда без исключения жалуются на свою жизнь и на устройство нашей жизни и предвидят гибель всему, — этот средний человек на вопрос: зачем он сам живет этой осуждаемой им жизнью и ничего не делает, чтобы улучшить ее? — всегда вместо прямого ответа начнет говорить не о себе, а о чем-нибудь общем: о правосудии, о торговле, о государстве, о цивилизации. Если он городской или прокурор, он скажет: «А как же пойдет государственное дело, если я, чтобы улучшить свою жизнь, перестану участвовать в нем? » «А как же торговля? » скажет он, если он торговый человек. «А как же цивилизация, если я для улучшения своей жизни не буду содействовать ей? » Он скажет всегда так, как будто задача его жизни состоит не в том, чтобы делать то благо, к которому он всегда стремится, а в том, чтобы служить государству, торговле, цивилизации. Средний человек отвечает точь-в-точь то же, что и верующий философ. Он на место личного вопроса подставляет общий, а подставляет его и верующий, и философ, и средний человек потому, что у него нет никакого ответа на личный вопрос жизни, потому что у него нет никакого настоящего учения о жизни. И ему совестно.

Ему совестно потому, что он чувствует себя в униженном положении человека, не имеющего никакого учения о жизни; тогда как человек никогда не жил и не может жить без учения о жизни. Только в нашем христианском мире, на место учения о жизни и объяснения, почему жизнь должна быть такая, а не иная, т. е. на место религии подставилось одно объяснение того, почему жизнь должна быть такою, какою она была когда-то прежде, и религией стало называться то, что никому ни на что не нужно: а сама жизнь стала независима от всякого учения, т. е. осталась без всякого определения.

Мало того: как всегда бывает, наука признала именно это случайное, уродливое положение нашего общества за закон всего человечества. Ученые Тиле, Спенсер и друг. пресерьезно трактуют о религии, разумея под нею метафизические учения о начале всего и не подозревая, что говорят не о всей религии, а только о части ее.

Отсюда произошло то удивительное явление, что в наш век мы видим людей умных и ученых, пренаивно уверенных, что они свободны от всякой религии только потому, что не признают тех метафизических объяснений начала всего, которые когда-то и для кого-то объясняли жизнь. Им не приходит в голову, что им надо же жить как-нибудь и что они живут же как-нибудь и что именно то, на основании чего они живут так, а не иначе, — и есть их религия. Люди эти воображают, что у них есть очень возвышенные убеждения и нет никакой веры. Но каковы бы ни были их разговоры, у них есть вера, если только они совершают какие-нибудь разумные поступки, потому что разумные поступки всегда определяются верою. Поступки же этих людей определяются только верою, что надо делать всегда то, что велят. Религия людей, не признающих религии, есть религия покорности всему тому, что делает сильное большинство, т. е., короче, религия повиновения существующей власти.

Можно жить по учению мира, т. е. животной жизнью, не признавая ничего выше и обязательнее предписаний существующей власти. Но кто живет так, не может же утверждать, что живет разумно. Прежде чем утверждать, что мы живем разумно, надо ответить на вопрос: какое учение о жизни мы считаем разумным? А у нас, несчастных, не только нет никакого такого учения, но потеряно даже и сознание в необходимости какого-

нибудь разумного учения о жизни.

Спросите у людей нашего времени, верующих или неверующих: какому они учению следуют в жизни? Они должны будут сознаться, что они следуют одному учению — законам, которые пишут чиновники II-го отделения или законодательные собрания и приводит в исполнение — полиция. Это — единственное учение, которое признают наши европейские люди. Они знают, что учение это не от неба, не от пророков и не от мудрых людей; они постоянно осуждают постановления этих чиновников или законодательных собраний, но все-таки признают это учение и повинуются исполнителям его — полиции, повинуются безропотно в самых страшных требованиях ее. Написали чиновники или собрания, что всякий молодой человек должен быть готов на поругание, смерть и на убийство других, и все отцы и матери, вырастившие сыновей, повинуются такому закону, написанному вчера продажным чиновником и завтра могущему быть измененным.

Понятие о законе, несомненно разумном и по внутреннему сознанию обязательном для всех, до такой степени утрачено в нашем обществе, что существование у еврейского народа закона, определявшего всю их жизнь, такого закона, который был обязателен не по принуждению, а по внутреннему сознанию каждого, считается исключительным свойством одного еврейского народа. Что евреи повиновались только тому, что они считали в глубине души несомненной истиной, полученной прямо от бога, т. е. тому, что было согласно с их совестью, считается особенностью евреев. Нормальным же состоянием, свойственным образованному человеку, считается то, чтобы повиноваться тому, что заведомо пишется презируемыми людьми и приводится в исполнение городским с пистолетом, тому, что каждый или по крайней мере большинством этих людей считается неправильным, т. е. противным их совести.

Тщетно искал я в нашем цивилизованном мире каких-нибудь ясно выраженных нравственных основ для жизни. Их нет. Нет даже сознания, что они нужны. Есть даже странное убеждение, что они не нужны, что религия есть только известные слова о будущей жизни, о боге, известные обряды, очень полезные для спасения души по мнению одних и ни на что ненужные по мнению других, а что жизнь идет сама собой и что для нее не нужно никаких основ и правил; нужно только делать то, что велят. Из того, что составляет сущность веры, т. е. учения о жизни и объяснения смысла ее, первое считается неважным и не принадлежащим к вере, а второе, т. е. объяснение когда-то бывшей жизни или рассуждения и гадания об историческом ходе жизни, считаются самым важным и серьезным.

Во всем, что составляет жизнь человека — в том, как жить, идти ли убивать людей или не идти, идти ли судить людей или не идти, воспитывать ли своих детей так или иначе, — люди нашего мира отдаются безропотно другим людям, которые точно так же, как и они сами, не знают, зачем они живут и заставляют жить других так, а не иначе.

И такую-то жизнь люди считают разумной и не стыдятся ее!

Раздвоение между объяснением веры, которое названо верою, и самою верою, которая названа общественной, государственной жизнью, дошло теперь до последней степени, — и всё цивилизованное большинство людей осталось для жизни с одной верой в городского и урядника.

Положение это было бы ужасно, если бы оно вполне было таково. Но, к счастью, и в наше время есть люди, лучшие люди нашего времени, которые не довольствуются такой верою и имеют свою веру в то, как должны жить люди.

Люди эти считаются самыми зловерными, опасными и, главное, неверующими людьми; а между тем это единственные верующие люди нашего времени, и не только верующие вообще, но верующие именно в учение Христа, если не во всё учение, то хотя в малую часть его.

Люди эти часто вовсе не знают учения Христа, не понимают его, часто не принимают, так же как и враги их, главной основы Христовой веры — непротивления злу, часто даже ненавидят Христа; но вся их вера в то, какова должна быть жизнь, почерпнута из учения Христа. Как бы ни гнали этих людей, как бы ни клеветали на них, но это — единственные

люди, не покоряющиеся безропотно всему, что велят, и потому это — единственные люди нашего мира, живущие не животной, а разумной жизнью, — единственные верующие люди.

Нить, связующая мир с церковью, дававшей смысл миру, становилась всё слабее и слабее по мере того, как содержание, соки жизни всё более и более переливались в мир. И теперь, когда соки все перелились, связующая нить стала только помехой.

Это — таинственный процесс рождения; и вот он совершается на наших глазах. В одно и то же время обрывается последняя связь с церковью и устанавливается самостоятельный процесс жизни.

Учение церкви с ее догматами, соборами, иерархией, несомненно, связано с учением Христа. Связь эта столь же очевидна, как и связь новорожденного плода с утробой матери. Но как пуповина и место делаются после рождения ненужными кусками мяса, которые, из уважения к тому, что хранилось в них, надо бережно зарыть в землю, так и церковь сделалась ненужным, отжившим органом, который только из уважения к тому, чем она была прежде, надо спрятать куда-нибудь подальше. Как только установилось дыхание и кровообращение, — связь, бывшая прежде источником питания, стала помехой. И безумны усилия удержать эту связь и заставить вышедшего на свет ребенка питаться через пуповину, а не через рот и легкие.

Но освобождение детеныша из утробы матери не есть еще жизнь. Жизнь детеныша зависит от установления новой связи питания с матерью. То же должно совершиться и с нашим христианским миром. Учение Христа выносило наш мир и родило его. Церковь — один из органов учения Христа — сделала свое дело и стала ненужна, стала помехой. Мир не может руководиться церковью, но и освобождение мира от церкви еще не есть жизнь. Жизнь его наступит тогда, когда он сознает свое бессилие и почувствует необходимость нового питания. И вот это должно наступить в нашем христианском мире: он должен закричать от сознания своей беспомощности; только сознание своей беспомощности, сознание невозможности прежнего питания и невозможности всякого другого питания, кроме молока матери, приведет его к нагрудной от молока груди матери.

С нашим столь внешне-самоуверенным, смелым, решительным и в глубине сознания испуганным и растерянным европейским миром происходит то же, что бывает с только что родившимся детенышем: он мечется, суется, кричит, толкается, точно сердится, и не может понять, что ему делать. Он чувствует, что источник прежнего питания его иссяк, но не знает еще, где искать новый.

Только что родившийся ягненок и глазами и ушами водит, и хвостом трясет, и прыгает, и брыкается. Нам кажется по его решительности, что он всё знает, а он, бедный, ничего не знает. Вся эта решительность и энергия — плод соков матери, передача которых только что прекратилась и не может уже возобновиться. Он — в блаженном и вместе в отчаянном положении. Он полон свежести и силы; но он пропал, если не возьмется за соски матери.

То же самое происходит и с нашим европейским миром. Посмотрите, какая сложная, как будто разумная, какая энергическая жизнь кипит в европейском мире. Как будто все эти люди знают всё, что они делают и зачем они всё это делают. Посмотрите, как решительно, молодо, бодро люди нашего мира делают всё, что делают. Искусства, науки, промышленность, общественная, государственная деятельность — всё полно жизни. Но всё это живо только потому, что питалось недавно еще соками матери через пуповину. Была церковь, которая проводила разумное учение Христа в жизнь мира. Каждое явление мира питалось им и росло, и выросло. Но церковь сделала свое дело и отсохла. Все органы мира живут; источник их прежнего питания прекратился, нового же они еще не нашли; и они ищут его везде, только не у матери, от которой они только что освободились. Они, как ягненок, пользуются еще прежней пищей, но не пришли еще к тому, чтобы понять, что эта пища опять только у матери, но только иначе, чем прежде, может быть передана им.

Дело, которое предстоит теперь миру, состоит в том, чтобы понять, что процесс прежнего бессознательного питания пережит и что необходим новый, сознательный процесс

питания.

Этот новый процесс состоит в том, чтобы сознательно принять те истины учения христианского, которые прежде бессознательно вливались в человечество через орган церкви и, которыми теперь живо еще человечество. Люди должны вновь поднять тот свет, которым они жили, но который скрыт был от них, и высоко поставить его перед собою и людьми и сознательно жить этим светом.

Учение Христа, как религия, определяющая жизнь и дающая объяснение жизни людей, стоит теперь так же, как оно 1800 лет тому назад стояло перед миром. Но прежде у мира были объяснения церкви, которые, заслоняя от него учение, все-таки казались ему достаточными для его старой жизни; а теперь настало время, что церковь отжила, и мир не имеет никаких объяснений своей новой жизни и не может не чувствовать своей беспомощности, а потому и не может теперь не принять учения Христа.

Христос прежде всего учит тому, чтобы люди верили в свет, пока свет есть в них. Христос учит тому, чтобы люди выше всего ставили этот свет разума, чтобы жили сообразно с ним, не делали бы того, что они сами считают неразумным. Считаете неразумным идти убивать турок или немцев — не ходите; считаете неразумным насилием отбирать труд бедных людей для того, чтобы надевать цилиндр или затягиваться в корсет, или сооружать затрудняющую вас гостиную — не делайте этого; считаете неразумным развращенных праздностью и вредным сообществом сажать в остроги, т. е. в самое вредное сообщество и самую полную праздность — не делайте этого; считаете неразумным жить в зараженном городском воздухе, когда можете жить на чистом; считаете неразумным учить детей прежде и больше всего грамматикам мертвых языков, — не делайте этого. Не делайте только того, что делает теперь весь наш европейский мир: жить и не считать разумным свою жизнь, делать и не считать разумными свои дела, не верить в свой разум, жить несогласно с ним.

Учение Христа есть свет. Свет светит, и тьма не обнимает его. Нельзя не принимать света, когда он светит. С ним нельзя спорить, нельзя с ним не соглашаться. С учением Христа нельзя не согласиться потому, что оно обнимает все заблуждения, в которых живут люди, и не сталкивается с ними и, как эфир, про который говорят физики, проникает всех их. Учение Христа одинаково неизбежно для каждого человека нашего мира, в каком бы он ни был состоянии. Учение Христа не может не быть принято людьми не потому, что нельзя отрицать то метафизическое объяснение жизни, которое оно дает (отрицать всё можно), но потому, что только оно одно дает те правила жизни, без которых не жило и не может жить человечество, не жил и не может жить ни один человек, если он хочет жить, как человек, т. е. разумною жизнью.

Сила учения Христа не в его объяснении смысла жизни, а в том, что вытекает из него — в учении о жизни. Метафизическое учение Христа не новое. Это всё одно и то же учение человечества, которое написано в сердцах людей и которое проповедовали все истинные мудрецы мира. Но сила учения Христа — в приложении этого метафизического учения к жизни.

Метафизическая основа древнего учения евреев и Христа — одна и та же: любовь к богу и ближнему. Но приложение этого учения к жизни по Моисею и по закону Христа — весьма различно. По закону Моисея, как его понимали евреи, для приложения его к жизни требовалось исполнение шестисот тринадцати заповедей, часто бессмысленных, жестоких и таких, которые все основывались на авторитете писания. По закону Христа учение о жизни, вытекающее из той же метафизической основы, выражено в пяти заповедях, разумных, благих и носящих в самих себе свой смысл и свое оправдание и обнимающих всю жизнь людей.

Учение Христа не может не быть принято теми верующими иудеями, буддистами, магометанами и другими, которые усомнились бы в истинности своего закона; еще менее — оно не может не быть принято людьми нашего, христианского мира, которые не имеют теперь никакого нравственного закона.

Учение Христа не спорит с людьми нашего мира о их мирозерцании, оно вперед

соглашается с ним и, включая его в себя, дает им то, чего у них нет, что им необходимо и чего они ищут: оно дает им путь жизни и притом не новый, а давно знакомый и родной им всем.

Вы — верующий христианин, какого бы то ни было исповедания. Вы верите в сотворение мира, в троицу, в падение и искупление человека, в таинства, в молитвы, в церковь. Христово учение не только не спорит с вами, но вполне соглашается с вашим мирозерцанием, оно только дает вам то, чего у вас нет. Сохраняя вашу теперешнюю веру, вы чувствуете, что жизнь мира и жизнь ваша — исполнена зла и вы не знаете, как избежать его. Учение Христа (обязательное для вас, потому что оно есть учение вашего бога), дает вам простые, исполнимые правила жизни, которые избавят и вас и других людей от того зла, которое мучит вас. Верьте в воскресение, в рай, в ад, в папу, в церковь, в таинства, в искупление, молитесь, как это требуется по вашей вере, говейте, пойте псалмы, — всё это не мешает вам исполнять то, что открыто Христом для вашего блага: *не сердитесь, не блудите, не кланитесь, не защищайтесь насилием, не воюйте*.

Может случиться, что вы не исполните какого-нибудь из этих правил, вы увлечетесь и нарушите одно из них так же, как вы нарушаете теперь в минуты увлечения правила вашей веры, правила закона гражданского или законов приличия. Так же вы отступите, может быть, в минуты увлечения и от правил Христа. Но в спокойные минуты не делайте того, что вы теперь делаете, — устраивайте жизнь не такую, при которой трудно не сердиться, не блудить, не клясться, не защищаться, не воевать, а такую, при которой трудно бы было это делать. Вы не можете не признать этого, потому что бог велел вам это.

Вы — неверующий философ какого бы то ни было толка. Вы говорите, что всё происходит в мире по закону, который вы открыли. Христово учение не спорит с вами и признает вполне открытый вами закон. Но ведь помимо этого вашего закона, по которому через тысячелетия настанет то благо, которое вы желаете и приготовили для человечества, есть еще ваша личная жизнь, которую вы можете прожить или согласно с разумом, или противно ему; а для этой-то вашей личной жизни у вас теперь и нет никаких правил, кроме тех, которые пишутся не уважаемыми вами людьми и приводятся в исполнение полицейскими. Учение Христа дает вам такие правила, которые наверно сходятся с вашим законом, потому что ваш закон альтруизма или единой воли есть не что иное, как дурная перифраза того же учения Христа.

Вы — средний человек, полуверующий, полуневерующий, не имеющий времени углубляться в смысл человеческой жизни; и у вас нет никакого определенного мирозерцания, вы делаете то, что делают все. Христово учение не спорит с вами. Оно говорит: хорошо, вы не способны рассуждать, поверять истинность преподаваемого вам учения, вам легче поступать зауряд со всеми; но как бы скромны вы ни были, вы все-таки чувствуете в себе того внутреннего судью, который иногда одобряет ваши поступки, согласные со всеми, иногда не одобряет их. Как бы ни скромна была ваша доля, вам приходится все-таки задумываться и спрашивать себя: так ли мне поступить, как все, или по-своему? В таких именно случаях, т. е. когда вам представится надобность решить такой вопрос, правила Христа и предстанут перед вами во всей своей силе.

И правила эти наверно дадут вам ответ на ваш вопрос, потому что они обнимают всю вашу жизнь, и они ответят вам согласно с вашим разумом и вашей совестью. Если вы ближе к вере, чем к неверию, то, поступая таким образом, вы поступаете по воле бога; если вы ближе к свободомыслию, то вы, поступая так, поступаете по самым разумным правилам, какие существуют в мире, в чем вы сами убедитесь, потому что правила Христа сами в себе несут свой смысл и свое оправдание.

Христос сказал (Иоан. XII, 31): «Ныне *суд миру сему*; ныне князь мира сего изгнан будет вон».

Он сказал еще (Иоан. XVI, 33): «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь: *я победил мир*».

И действительно, мир, т. е. зло мира побеждено.

Если существует еще мир зла, то он существует только как нечто мертвое, он живет только по инерции; — в нем нет уже основ жизни. Его нет для верующего в заповеди Христа. Он побежден в разумном сознании сына человеческого. Разбежавшийся поезд еще бежит по прямому направлению, но вся разумная работа на нем делается уже давно для обратного направления.

Ибо всё рожденное от бога побеждает мир. И *победа, которую побежден мир, есть вера ваша* (Первое послание Иоанна V, 4).

Вера, побеждающая мир, есть вера в учение Христа.

ХИ

Я верю в учение Христа, и вот в чем моя вера.

Я верю, что благо мое возможно на земле только тогда, когда все люди будут исполнять учение Христа.

Я верю, что исполнение этого учения возможно, легко и радостно.

Я верю, что и до тех пор, пока учение это не исполняется, что если бы я был даже один среди всех неисполняющих, мне все-таки ничего другого нельзя делать для спасения своей жизни от неизбежной гибели, как исполнять это учение, как ничего другого нельзя делать тому, кто в горящем доме нашел дверь спасения.

Я верю, что жизнь моя по учению мира была мучительна и что только жизнь по учению Христа дает мне в этом мире то благо, которое предназначил мне отец жизни.

Я верю, что учение это дает благо всему человечеству, спасает меня от неизбежной гибели и дает мне здесь наибольшее благо. А потому я не могу не исполнять его.

Закон дан через Моисея, а благо и истина — через Иисуса Христа (Иоан. I, 17). Учение Христа есть благо и истина. Прежде, не зная истины, я не знал и блага. Принимая зло за благо, я впадал во зло и сомневался в законности моего стремления ко благу. Теперь же я понял и поверил, что благо, к которому я стремлюсь, есть воля отца, есть самая законная сущность моей жизни.

Христос сказал мне: живи для блага, только не верь тем ловушкам — соблазнам (σκάνδαλος), которые, заманивая тебя подобием блага, лишают этого блага и уловляют в зло. Благо твое есть твое единство со всеми людьми, зло есть нарушение единства сына человеческого. Не лишай себя сам того блага, которое дано тебе.

Христос показал мне, что единство сына человеческого, любовь людей между собой не есть, как мне прежде казалось, цель, к которой должны стремиться люди, но что это единство, эта любовь людей между собой есть их естественное блаженное состояние, то, в котором рождаются дети, по словам его, и то, в котором живут всегда все люди до тех пор, пока состояние это не нарушается обманом, заблуждением, соблазнами.

Но Христос не только показал мне это, но он ясно, без возможности ошибки перечислил мне в своих заповедях все до одного соблазны, лишившие меня этого естественного состояния единства, любви и блага и уловлявшие меня в зло. Заповеди Христа дают мне средство спасения от соблазнов, лишивших меня моего блага, и потому я не могу не верить в эти заповеди.

Мне дано благо жизни, а я сам губил его. Христос показал мне своими заповедями те соблазны, которыми я гублю свое благо, а потому я и не могу делать того, что губит мое благо. В этом и в этом одном вся моя вера.

Христос показал мне, что первый соблазн, губящий мое благо, есть моя вражда с людьми, мой гнев на них. Я не могу не верить в это, и потому не могу уже сознательно враждовать с другими людьми, не могу, как я делал это прежде, радоваться на свой гнев, гордиться им, разжигать, оправдывать его признанием себя важным и умным, а других людей ничтожными — потерянными и безумными; не могу уже теперь при первом напоминании о том, что я поддаюсь гневу, не признавать себя одного виноватым и не искать примирения с теми, кто враждует со мною.

Но этого мало. Если я знаю теперь, что гнев мой есть неестественное, вредное для меня болезненное состояние, то я знаю еще, какой соблазн приводил меня в него. Этот соблазн состоял в том, что я отделял себя от других людей, признавая только некоторых из них равными себе, а всех остальных — ничтожными, не людьми (рака) или глупыми и необразованными (безумными). Я вижу теперь, что это отделение себя от людей и признание других за «рака» и безумных было главной причиной моей вражды с людьми. Вспоминая свою прежнюю жизнь, я вижу теперь, что я никогда не позволял разгораться своему враждебному чувству на тех людей, которых считал выше себя, и никогда не оскорблял их; но зато малейший неприятный для меня поступок человека, которого я считал ниже себя, вызывал мой гнев на него и оскорбление, и чем выше я считал себя перед таким человеком, тем легче я оскорблял его; иногда даже одна воображаемая мною низкость положения человека уже вызывала с моей стороны оскорбление ему. Теперь же я понимаю, что выше других людей будет стоять только тот, кто унизит себя перед другими, кто будет всем слугою. Я понимаю теперь, почему то, что высоко перед людьми, есть мерзость перед богом, и почему горе богатым и прославляемым, и почему блаженны нищие и униженные. Только теперь я понимаю это и верю в это, и вера эта изменила всю мою оценку хорошего и высокого, дурного и низкого в жизни. Всё, что прежде казалось мне хорошим и высоким, — почести, слава, образование, богатство, сложность и утонченность жизни, обстановки, пищи, одежды, внешних приемов, — всё это стало для меня дурным и низким. Всё же, что казалось дурным и низким, — мужичество, неизвестность, бедность, грубость, простота обстановки, пищи, одежды, приемов — всё это стало для меня хорошим и высоким. А потому, если и теперь, зная всё это, я могу в минуту забвения отдаться гневу и оскорбить брата, то в спокойном состоянии я не могу уже служить тому соблазну, который, возвышая меня над людьми, лишал меня моего истинного блага — единства и любви, как не может человек устраивать сам для себя ловушку, в которую он попал прежде и которая чуть не погубила его. Теперь я не могу содействовать ничему тому, что внешне возвышает меня над людьми, отделяет от них; не могу, как я прежде это делал, признавать ни за собой, ни за другими никаких званий, чинов и наименований, кроме звания и имени человека; не могу искать славы и похвалы, не могу искать таких знаний, которые отделяли бы меня от других, не могу не стараться избавиться от своего богатства, отделяющего меня от людей, не могу в жизни своей, в обстановке ее, в пище, в одежде, во внешних приемах не искать всего того, что не разъединяет меня, а соединяет с большинством людей.

Христос показал мне, что другой соблазн, губящий мое благо, есть блудная похоть, т. е. похоть к другой женщине, а не той, с которой я сошелся. Я не могу не верить в это и потому не могу, как я делал это прежде, признавать блудную похоть естественным и возвышенным свойством человека; не могу оправдывать ее перед собой моей любовью к красоте, влюбленностью или недостатками своей жены; не могу уже при первом напоминании о том, что поддаюсь блудной похоти, не признавать себя в болезненном, неестественном состоянии и не искать всяких средств, которые могли бы избавить меня от этого зла.

Но, зная теперь, что блудная похоть есть зло для меня, я знаю, еще и тот соблазн, который вводил меня прежде в него, и потому не могу уже служить ему. Я знаю теперь, что главная причина соблазна не в том, что люди не могут воздержаться от блуда, но в том, что большинство мужчин и женщин оставлено теми, с которыми они сошлись сначала. Я знаю теперь, что всякое оставление мужчины или женщины, которые сошлись в первый раз, и есть тот самый развод, который Христос запрещает людям потому, что оставленные первыми супругами мужья и жены вносят весь разврат в мир. Вспоминая то, что меня вводило в блуд, я вижу теперь, что, кроме того дикого воспитания, при котором и физически и умственно разжигалась во мне блудная похоть и оправдывалась всеми изощрениями ума, главный соблазн, уловивший меня, заключался в оставлении мною той женщины, с которой я сошелся сначала, и в состоянии оставленных женщин, со всех сторон, окружавших меня. Я вижу теперь, что главная сила соблазна была не в моей похоти, а в неудовлетворенности похоти моей и тех оставленных женщин, которые со всех сторон окружали меня. Я понимаю

теперь слова Христа: бог сотворил вначале человека — мужчиной и женщиной, так чтобы два были одно, и что поэтому человек не может и не должен разъединять то, что соединил бог. Я понимаю теперь, что единобрачие есть естественный закон человечества, который не может быть нарушаем. Я понимаю теперь вполне слова о том, что тот, кто разводится с женою, т. е. с женщиной, с которой он сошелся сначала, для другой, заставляет ее распутничать и вносит сам против себя новое зло в мир. Я верю в это, и вера эта изменяет всю мою прежнюю оценку хорошего и высокого, дурного и низкого в жизни. То, что прежде мне казалось самым хорошим, — утонченная, изящная жизнь, страстная и поэтическая любовь, восхваляемая всеми поэтами и художниками, — всё это представилось мне дурным и отвратительным. Наоборот, хорошим представились мне: трудовая, скудная, грубая жизнь, умеряющая похоть; высоким и важным представилось мне не столько человеческое учреждение брака, накладывающее внешнюю печать законности на известное соединение мужчины и женщины, сколько самое соединение всякого мужчины и женщины, которое, раз совершившись, не может быть нарушено без нарушения воли бога. Если я и теперь могу в минуту забвения подпасть блудной похоти, то не могу уже, зная тот соблазн, который вводил меня в это зло, служить ему, как я делал это прежде. Я не могу желать и искать физической праздности и жирной жизни, разжигавшей во мне чрезмерную похоть; не могу искать тех разжигающих любовную похоть потех — романов, стихов, музыки, театров, балов, которые прежде представлялись мне не только не вредными, но очень высокими увеселениями; не могу оставлять своей жены, зная, что оставление ее есть первая ловушка для меня, для нее и для других; не могу содействовать праздной и жирной жизни других людей; не могу участвовать и устраивать тех похотливых увеселений, — романов, театров, опер, балов и т. п., — которые служат ловушкой для меня и других людей; не могу поощрять безбрачное житье людей зрелых для брака; не могу содействовать разлуке мужей с женами; не могу делать различия между совокуплениями, называемыми браками и не называемыми так; не могу не считать священным и обязательным только то брачное соединение, в котором раз находится человек.

Христос открыл мне, что третий соблазн, губящий мое благо, есть соблазн клятвы. Я не могу не верить в это и потому не могу уже, как я делал это прежде, сам клясться кому-нибудь и в чем-нибудь и не могу уже, как я делал это прежде, оправдывать себя в своей клятве тем, что в этом нет ничего дурного для людей, что все делают это, что это нужно для государства, что мне или другим будет хуже, если я откажусь от этого требования. Я знаю теперь, что это есть зло для меня и для людей, и не могу делать его.

Но мало того, что я знаю это, я знаю теперь и тот соблазн, который уловлял меня в это зло, и не могу уже служить ему. Я знаю, что соблазн состоит в том, что именем бога освящается обман. Обман же состоит в том, что люди вперед обещаются повиноваться тому, что велит человек или люди, тогда как человек не может никогда повиноваться никому, кроме бога. Я знаю теперь, что самое страшное по своим последствиям зло мира — убийство на войнах, заключения, казни, истязания людей совершаются только благодаря этому соблазну, во имя которого снимается ответственность с людей, совершающих зло. Вспоминая теперь многое и многое зло, которое заставляло меня осуждать и не любить людей, — я вижу теперь, что всё оно было вызвано присягой — признанием необходимости подчинить себя воле других людей. Я понимаю теперь значение слов: всё, что сверх простого утверждения или отрицания — да и нет, всё, что сверх этого, всякое обещание, даваемое вперед, — есть зло. Понимая это, я верю, что клятва губит благо мое и других людей; и вера эта изменяет мою оценку хорошего и дурного, высокого и низкого. Всё то, что прежде казалось мне хорошим и высоким, обязательство верности правительству, подтверждаемое присягой, вымогание этой присяги от людей и все поступки, противные совести, совершаемые во имя этой присяги, — всё это представилось теперь мне и дурным и низким. И потому я не могу уже теперь отступить от заповеди Христа, запрещающей клятву; не мог уже клясться другому, ни заставлять клясться других, ни содействовать тому, чтобы люди клялись и заставляли клясться других людей и считали бы клятву или важную и

нужною, или хотя бы не вредною, как это думают многие.

Христос открыл мне, что четвертый соблазн, лишаящий меня моего блага, есть противление злу насилием других людей. Я не могу не верить, что это есть зло для меня и других людей, и поэтому не могу сознательно делать его и не могу, как я делал это прежде, оправдывать это зло тем, что оно нужно для защиты меня и других людей, для защиты собственности моей и других людей; не могу уже при первом напоминании о том, что я делаю насилие, не отказаться от него и не прекратить его.

Но мало того, что я знаю это, я знаю теперь и тот соблазн, который вводил меня в это зло. Я знаю теперь, что соблазн этот состоит в заблуждении о том, что жизнь моя может быть обеспечена защитой себя и своей собственности от других людей. Я знаю теперь, что большая доля зла людей происходит оттого, что они, вместо того чтобы отдавать свой труд другим, не только не отдают его, но сами лишают себя всякого труда и насилием отбирают труд других. Вспоминая теперь всё то зло, которое я делал себе и людям, и всё зло, которое делали другие, я вижу, что большая доля зла происходила оттого, что мы считали возможным защитой обеспечить и улучшить свою жизнь. Я понимаю теперь значение слов: человек рожден не для того, чтобы на него работали, но чтобы самому работать на других, и значение слов: трудящийся достоин пропитания. Я верю теперь в то, что благо мое и людей возможно только тогда, когда каждый будет трудиться не для себя, а для другого, и не только не будет отстаивать от другого свой труд, но будет отдавать его каждому, кому он нужен. И вера эта изменила мою оценку хорошего и дурного, высокого и низкого. Всё, что прежде казалось мне хорошим и высоким — богатство, собственность всякого рода, честь, сознание собственного достоинства, права, — всё это стало теперь дурно и низко; всё же, что казалось мне дурным и низким, — работа на других, бедность, унижение, отречение от всякой собственности и всяких прав — стало хорошо и высоко в моих глазах. Если теперь я и могу в минуту забвения увлечься насилием для защиты себя и других или своей или чужой собственности, то я не могу уже спокойно и сознательно служить тому соблазну, который губит меня и людей; я не могу приобретать собственности; не могу употреблять какое бы то ни было насилие против какого бы то ни было человека, за исключением ребенка, и то только для избавления его от предстоящего ему тотчас же зла; не могу участвовать ни в какой деятельности власти, имеющей целью ограждение людей и их собственности насилием; не могу быть ни судьей, ни участником в суде, ни начальником, ни участником в каком-нибудь начальстве; не могу содействовать и тому, чтобы другие участвовали в судах и начальствах.

Христос открыл мне, что пятый соблазн, лишаящий меня моего блага, — есть разделение, которое мы делаем между своими и чужими народами. Я не могу не верить в это, и потому если в минуту забвения и может подняться во мне враждебное чувство к человеку другого народа, то я не могу уже в спокойную минуту не признавать это чувство ложным, не могу оправдывать себя, как я прежде делал это, признанием преимущества своего народа над другими, заблуждениями, жестокостью или варварством другого народа; не могу, при первом напоминании о том, не стараться быть более дружелюбным к человеку чужого народа, чем к соотечественнику.

Но мало того, что я знаю теперь, что разделение мое с другими народами есть зло, губящее мое благо, — я знаю и тот соблазн, который вводил меня в это зло, и не могу уже, как я делал это прежде, сознательно и спокойно служить ему. Я знаю, что соблазн этот состоит в заблуждении о том, что благо мое связано только с благом людей моего народа, а не с благом всех людей мира. Я знаю теперь, что единство мое с другими людьми не может быть нарушено чертою границы и распоряжениями правительств о принадлежности моей к такому или другому народу. Я знаю теперь, что все люди везде равны и братья. Вспоминая теперь всё то зло, которое я делал, испытал и видел вследствие вражды народов, мне ясно, что причиной всего был грубый обман, называемый патриотизмом и любовью к отечеству. Вспоминая свое воспитание, я вижу теперь, что чувства вражды к другим народам, чувства отделения себя от них никогда не было во мне, что все эти злые чувства были искусственно

привиты мне безумным воспитанием. Я понимаю теперь значение слов: творите добро врагам, делайте им то же, что и своим. Вы все дети одного отца, и будьте так же, как и отец, т. е. не делайте разделения между своим народом и другими, со всеми будьте одинаковы. Я понимаю теперь, что благо возможно для меня только при признании своего единства со всеми людьми мира без всякого исключения. Я верю в это. И вера эта изменила всю мою оценку хорошего и дурного, высокого и низкого. То, что мне представлялось хорошим и высоким, — любовь к отечеству, к своему народу, к своему государству, служение им в ущерб блага других людей, военные подвиги людей — всё это мне показалось отвратительным и жалким. То, что мне представлялось дурным и позорным, — отречение от отечества, космополитизм, — показалось мне, напротив, хорошим и высоким. Если я и могу теперь в минуту забвения содействовать больше русскому, чем чужому, желать успеха русскому государству или народу, то не могу я уже в спокойную минуту служить тому соблазну, который губит меня и людей. Не могу признавать никаких государств или народов, не могу участвовать ни в каких спорах между народами и государствами, ни разговорами, ни писаниями, ни тем более службой какому-нибудь государству. Я не могу участвовать во всех тех делах, которые основаны на различии государств — ни в таможенных или сборах пошлин, ни в приготовлении снарядов или оружия, ни в какой-либо деятельности для вооружения, ни в военной службе, ни тем более в самой войне с другими народами, и не могу содействовать людям, чтобы они делали это.

Я понял, в чем мое благо, *верю* в это и потому не могу делать того, что несомненно лишает меня моего блага.

Но мало того, что я верю в то, что я должен жить так, я *верю*, что если буду жить так, и только так, то жизнь моя получит для меня единственно-возможный разумный, радостный и не уничтожаемый смертью смысл.

Я *верю*, что разумная жизнь моя — свет мой на то только и дан мне, чтобы светить перед человеками не словами, но добрыми делами, чтобы люди прославляли отца (Матф. V, 16). Я верю, что моя жизнь и знание истины есть талант, данный мне для работы на него, что этот талант есть огонь, который только тогда огонь, когда он жжет. Я верю, что я — Ниневия по отношению к другим Ионам, от которых я узнал и узнаю истину, но что и я Иона по отношению к другим ниневитянам, которым я должен передать истину. Я верю, что единственный смысл моей жизни — в том, чтобы жить в том свете, который есть во мне, и ставить его не под спуд, но высоко перед людьми, так, чтобы люди видели его. И вера эта придает мне новую силу при исполнении учения Христа и уничтожает все те препятствия, которые прежде стояли передо мной.

То самое, что прежде подрывало для меня истинность и исполнимость учения Христа, то, что отталкивало меня от него — возможность лишений, страданий и смерти от людей, не знающих учение Христа, — это самое теперь подтвердило для меня истинность учения и привлекло к нему.

Христос сказал: когда возвысите сына человеческого, все привлечется ко мне, и я почувствовал, что неудержимо привлечен к нему. Он сказал еще: истина освободит вас, и я почувствовал себя совершенно свободным.

Придет войной неприятель или просто злые люди нападут на меня, думал я прежде, и если я не буду защищаться, они оберут нас, осрамят, измучают и убьют меня и моих близких, и мне казалось это страшным. Но теперь всё, смущавшее меня прежде, показалось теперь радостным и подтвердило истину. Я знаю теперь, что и неприятели и так называемые злодеи и разбойники, все — люди, точно такие же сыны человеческие, как и я, так же любят добро и ненавидят зло, так же живут накануне смерти и так же, как и я, ищут спасения и найдут его только в учении Христа. Всякое зло, которое они сделают мне, будет злом для них же, и потому они должны делать мне добро. Если же истина неизвестна им и они делают зло, считая его благом, то я знаю истину только для того, чтобы показать ее тем, которые не знают ее. Показать же ее им я не могу иначе, как отречением от участия в зле, исповеданием истины на деле.

Придут неприятели: немцы, турки, дикари, и, если вы не будете воевать, они перебьют вас. Это неправда. Если бы было общество христиан, не делающих никому зла и отдающих весь излишек своего труда другим людям, никакие неприятели — ни немцы, ни турки, ни дикие — не стали бы убивать или мучить таких людей. Они брали бы себе всё то, что и так отдавали бы эти люди, для которых нет различия между русским, немцем, турком и дикарем. Если же христиане находятся среди общества нехристианского, защищающего себя войною, и христианин призывается к участию в войне, то тут-то и является для христианина возможность помочь людям, не знающим истины. Христианин для того только и знает истину, чтобы свидетельствовать о ней перед теми, которые не знают ее. Свидетельствовать же он может не иначе, как делом. Дело же его есть отречение от войны и делание добра людям без различия так называемых врагов и своих.

Но не неприятели, а свои же злые люди нападут на семью христианина и, если он не будет защищаться, оберут, измучают и убьют его и его близких. Это опять несправедливо. Если все члены семьи — христиане и потому полагают свою жизнь в служении другим, то не найдется такого безумного человека, который лишил бы пропитания или убил бы тех людей, которые служат ему. Миклуха-Маклай поселился среди самых зверских, как говорили, диких и его не только не убили, но полюбили его, покорились ему только потому, что он не боялся их, ничего не требовал от них и делал им добро. Если же христианин живет среди нехристианской семьи и близких, защищающих себя и свою собственность насилием, и христианин призывается к участию в этой защите, то этот призыв и есть для христианина призыв к исполнению своего дела жизни. Христианин только для того и знает истину, чтобы показать ее другим и — более всего — близким ему, связанным с ним семейными и дружескими связями людям, а показать истину христианин не может иначе, как не впадая в то заблуждение, в которое впали другие, не становясь на сторону ни нападающих, ни защищающих, а отдавая всё другим, жизнью своей показывая, что ему ничего не нужно, кроме исполнения воли бога, и ничего не страшно, кроме отступления от нее.

Но правительство не может допустить того, чтобы член общества не признавал основ государственного порядка и уклонялся от исполнения обязанностей всех граждан. Правительство потребует от христианина присяги, участия в суде, военной службе и за отказ подвергнет его наказанию — ссылке, заключению, даже казни. И опять-таки это требование правительства будет для христианина только призывом его к исполнению своего дела жизни. Для христианина требование правительства есть требование людей, не знающих истины. И потому христианин, знающий ее, не может не свидетельствовать о ней перед людьми, не знающими ее. Насилие, заключение, казни, которым подвергнется вследствие этого христианин, дают ему возможность свидетельствовать не словами, а делом. Всякое насилие: война, грабеж, казни происходят не вследствие неразумных сил природы, но производятся людьми заблудшими и лишенными знания истины. И потому чем большее зло делают эти люди христианину, тем более они далеки от истины, тем несчастнее они и тем нужнее им знание истины. Передать же знание истины людям христианин не может иначе, как воздержанием от того заблуждения, в котором находятся люди, делающие ему зло, воздаянием добра за зло. И в этом одном всё дело жизни христианина и весь смысл ее, не уничтожаемый смертью.

Люди, связанные друг с другом обманом, составляют из себя как бы сплоченную массу. Сплоченность этой массы и есть зло мира. Вся разумная деятельность человечества направлена на разрушение этого сцепления обмана.

Все революции суть попытки насильственного разбивания этой массы. Людям представляется, что если они разобьют эту массу, то она перестанет быть массой, и они бьют по ней; но, стараясь разбить ее, они только куют ее.

Но сколько бы они ни ковали ее, сцепление частиц не уничтожится, пока внутренняя сила не сообщится частицам массы и не заставит их отделяться от нее.

Сила сцепления людей есть ложь, обман. Сила, освобождающая каждую частицу людского сцепления, есть истина. Истина же передается людям только делами истины.

Только дела истины, внося свет в сознание каждого человека, разрушают сцепление обмана, отрывают одного за другим людей от массы, связанной между собою сцеплением обмана.

И вот уже 1800 лет делается это дело.

С тех пор, как заповеди Христа поставлены перед человечеством, началась эта работа, и не кончится она до тех пор, пока не будет исполнено всё, как и сказал это Христос (Матф. V, 18).

Церковь, составлявшаяся из тех, которые думали соединить людей воедино тем, что они с заклинаниями утверждали про себя, что они в истине, давно уже умерла. Но церковь, составленная из людей не обещаниями, не помазанием, а делами истины и блага, соединенными воедино — эта церковь всегда жила и будет жить. Церковь эта как прежде, так и теперь составляется не из людей, взывающих: господи, господи! и творящих беззаконие (Матф. VII, 21, 22), но из людей, слушающих слова сии и исполняющих их.

Люди этой церкви знают, что жизнь их есть благо, если они не нарушают единства сына человеческого, и что благо это нарушается только неисполнением заповедей Христа. И потому люди этой церкви не могут не исполнять этих заповедей и не учить других исполнению их.

Мало ли, много ли теперь таких людей, но это — та церковь, которую ничто не может одолеть, и та, к которой присоединятся все люди.

Не бойся, малое стадо, ибо отец ваш благоволил дать вам царство (Лук. XII, 32).

Москва.

22 января 1884 г.

ПЛАНЫ и ВАРИАНТЫ

В ЧЕМ МОЯ ВЕРА?

№ 1.

К главе I

<Помню, в одну хорошую минуту, когда я, беседуя с монахом учителем, сообщил ему мое желание отдать <именье> всю собственность, чтобы последовать Христу, учитель сказал мне, что это было бы дурно, что этого не требует учение Христа, что для исполнения учения Христа не надо так прямо понимать его учение, а надо следовать учению церкви о том, как исполнять учение Христа, что церковь предлагает другой, царский путь. Отдавать всего не надо; а надо продолжать жить в роскоши, отдавая 1/10 и молиться и пользоваться благодатью таинств.>

* № 2.

К главе X

Отыскиванием истины математической, научной считается похвальным заниматься. Разрешением разных восточных, римских вопросов можно заниматься. Можно заниматься писанием опер, комедий, историй, можно заниматься геральдикой — чем хотите, всё это допускается, но истинной жизни нашей человеческой не позволено заниматься. Это

считается глупым, смешным — или непозволительным. Единственные люди — социалисты и коммунисты, — которые пытаются заниматься этим, считаются врагами и религии, и государства, и человечества, и всего святого.

Комментарии Н. Н. Гусева

«В ЧЕМ МОЯ ВЕРА?»

ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ

I

Во второй половине декабря 1882 или в первой половине января 1883 г. Толстой получил от незнакомого ему М. А. Энгельгардта письмо с вопросом о том, «как теперь добиться осуществления евангельского учения? что делать?»¹⁴ Толстой ответил длинным письмом, в котором подробно изложил свое понимание христианства, в частности учение о «непротивлении злу», свое отношение к церкви, государству, революционной борьбе и пр.

Письмо это носило слишком интимный характер, вследствие чего Толстой решил его не отправлять.¹⁵ Но это неотправленное письмо послужило толчком к началу нового большого произведения, в окончательной редакции озаглавленного «В чем моя вера?», в котором рассматривался вопрос об отношении христианского учения к современной жизни.

Новое произведение вначале носило характер автобиографических записок. Толстой воспользовался началом своего Дневника 1881 г., озаглавленного «Записки христианина» (см. т. 49). Это заглавие было заменено другим — «Записки моей жизни 1881 года». Однако скоро форма записок была оставлена, вследствие чего пришлось изменить и название произведения.

30 января 1883 г. С. А. Толстая сообщала Т. А. Кузминской: «Левочка очень спокоен, работает, пишет какие-то статьи». 10 февраля ей же: «Левочка муж всё пишет о христианстве». 8 марта: «Левочка всё пишет свои евангельские сочинения; у него два переписчика постоянно пишут; но напечатать ни одного слова нельзя. Это очень грустно, что он работает для того, чтобы его работа лежала под замком и никогда не видала света» (ГМТ).

В феврале 1883 г. Толстой пишет М. С. Громеке: «Простите, что коротко пишу. Дел много. Мне часто говорят: пишите художественное и т. д. Я всей душой бы рад и кажется, что есть, что; да кто же то напишет, что я теперь пишу? Пусть кто-нибудь снимет с меня это дело или покажет мне, что оно не нужно, или сделает его — в ножки поклонюсь».¹⁶

В самой работе есть только одно хронологическое указание, позволяющее относить начало ее писания именно к первым месяцам 1883 г. В главе четвертой автор говорит: «Недавно у меня была в руках поучительная... переписка православного славянофила с

¹⁴ См. «Письма Толстого и к Толстому», Государственное издательство, М. 1928, стр. 308—311.

¹⁵ Т. 63, стр. 112—124.

¹⁶ Т. 63, стр. 131.

христианином — революционером». Это переписка И. С. Аксакова с М. А. Энгельгардтом, которая была послана Толстому М. А. Энгельгардтом вместе с письмом к нему во второй половине декабря 1882 или в первой половине января 1883 г.

После нескольких месяцев напряженной работы Толстой почувствовал утомление и в первых числах апреля писал М. С. Громеке: «К весне способность умственной работы перемежается и становится тяжелее».¹⁷ Работа продолжалась и летом 1883 г. за исключением последних чисел мая и всего июня, которые Толстой провел в самарском имении. Г. А. Русанов, посетивший Толстого в Ясной Поляне 24—25 августа 1883 г., услышал от Льва Николаевича, что он пишет «теперь статью по религиозному вопросу».¹⁸ В конце августа Толстой писал М. С. Громеке: «Я всё работаю работу, которая поглощает и радует меня».¹⁹ Повидимому, к этому времени произведение вчерне было уже доведено до конца, так как 2 сентября 1883 г. Толстой пишет Н. Н. Страхову: «Я всё переделываю, поправляю свое писанье и очень занят».²⁰

В сентябре 1883 г. рукопись была уже сдана в журнал «Русская мысль». Г. А. Русанов со слов Толстого сообщает, что редактор «Русской мысли» С. А. Юрьев и издатель В. М. Лавров настойчиво просили у Толстого эту статью, высказав при этом такое предположение: «Они имеют право напечатать ее без цензуры, цензура не пропустит и уничтожит статью, но несколько экземпляров, хотя три, будет утаено ими».²¹

Сдав рукопись, Толстой продолжает работать над заключением к книге, которому он придавал особенное значение. 29 сентября Толстой писал жене в Москву: «Корректур я своих еще не получал и только один день позанился и не кончил заключение. А оно очень мне кажется важно, и я все дни о нем думаю. Завтра займусь, если пойдет дело... До сих пор не решил, когда уеду. Хочется кончить; если бы день или два хорошей работы, то сейчас бы приехал».²² На следующий день ей же: «На бумаге я ничего не написал, но много хорошо обдумал и жду первого хорошего рабочего дня... Нынче я позанился немного, вижу — не идет... То, что в Москве, с возбужденными нервами, мне казалось хорошо, здесь совсем переделывается и становится так ясно, что я радуюсь».²³ Ей же 1 октября: «Утром... сел за работу. Писал много, но, кажется, нехорошо».²⁴

Заключение, которому Толстой придавал такое значение, составило две последние главы окончательной редакции. Последняя из них первоначально называлась: «В чем же моя вера?» — почти повторяя название всей книги. Сохранилось четыре начала этой главы, свидетельствующие о том, с каким упорством и настойчивостью добивался Толстой наиболее сильного выражения своих мыслей в этой заключительной и, по его мнению,

¹⁷ Там же, стр. 136.

¹⁸ Г. А. Русанов, «Поездка в Ясную Поляну (24—25 августа 1883 г.)» — «Толстовский ежегодник 1912 г.», изд. Общества Толстовского музея в Петербурге и Толстовского общества в Москве, М. 1912, стр. 55.

¹⁹ Т. 63, стр. 137.

²⁰ Там же, стр. 138.

²¹ Г. А. Русанов, «Поездка в Ясную Поляну (24—25 августа 1883 г.)», стр. 55.

²² Т. 83, стр. 395—396.

²³ Там же, стр. 397.

²⁴ Там же, стр. 399.

важнейшей части своего произведения.

Между тем 2 октября были уже получены из Москвы корректуры, о чем Толстой в тот же день извещал жену: «Нынче получил гору корректур из Ясенков... Из типографии просят поскорее поправить, а то у них нет шрифта. В три дня надеюсь кончить».²⁵ 3 октября: «Получил корректуры и нынче, как и ожидал, прекрасно работал — сделал почти половину... Я надеюсь, что поработается эти два дня, как нынче. Буду очень счастлив кончить».²⁶ 4 октября: «До сих пор сбывается то, чего я желал — второй день помногу работаю, и если завтра так же, то кончу корректуры».²⁷

Приехав в Москву 7 октября, Толстой пробыл там октябрь и первые числа ноября, усиленно работая над корректурами. 9 ноября С. А. Толстая в ответ на запрос А. М. Кузминского, интересовавшегося работой Толстого и знакомого с ней в первой редакции, в письме к Т. А. Кузминской передает слова Льва Николаевича, что «двух слов не осталось подряд из старой рукописи, всё переделано» (ГМТ).

9 ноября Толстой опять уехал в Ясную Поляну кончать работу над корректурами. Судя по письмам к жене, работа на этот раз не пошла, — Толстой чувствовал себя переутомленным, и 18 ноября вернулся в Москву.

Проезжая на извозчике с вокзала домой, он потерял чемодан, в котором были одежда, книги, рукописи и корректуры «В чем моя вера?». Несмотря на объявления в газетах, пропажа не была найдена.

В Москве Толстой вновь энергично принялся за работу, и 28 ноября была подписана последняя гранка корректуры. Однако, по своему обыкновению, Толстой усердно правил и вторую корректуру и сверстаные листы. Только 10 января 1884 г. он смог написать А. Н. Пыпину: «Нынче первый день, что я не занят корректурами того, что я печатаю. Я вчера снес последнее в типографию».²⁸ На самом деле просмотр корректур продолжался еще некоторое время, так как произведение было напечатано с датой: «Москва, 22 января 1884 г.».

Эту дату и следует считать последней в работе над «В чем моя вера?»; больше Толстой уже не возвращался к этому произведению.

II

Намерение напечатать статью в «Русской мысли» было оставлено — вероятно, из-за большого объема книги. Было напечатано в отдельном издании только 50 экземпляров по цене 25 рублей за экземпляр, в надежде из-за малого количества экземпляров и высокой продажной цены получить разрешение цензуры.

В том же письме от 10 января 1884 г. Толстой писал А. Н. Пыпину: «Не могу себе представить, что сделает цензура. Пропустить нельзя. Не пропустить тоже, мне кажется, в их видах нельзя».

29 января 1884 г. С. А. Толстая писала Льву Николаевичу в Ясную Поляну: «Маракуев²⁹ сказал, что книгу твою новую цензура светская передала в цензуру духовную, что архимандрит [Амфилохий], председатель цензурного комитета, ее прочел и сказал, что в

²⁵ Т. 83, стр. 400.

²⁶ Там же, стр. 401.

²⁷ Там же, стр. 402.

²⁸ Т. 63, стр. 150.

²⁹ Владимир Николаевич Маракуев, издатель и писатель по вопросам сельского хозяйства.

этой книге столько высоких истин, что нельзя не признать их, и что он с своей стороны не видит причины не пропустить ее. Но я думаю, что Победоносцев со своей бестактностью и педантизмом опять запретит; пока она запечатана у Кушнера,³⁰ и решения никакого нет».³¹

На это письмо Толстой отвечал 31 января: «Известие твое от Маракуева о мнении архимандрита мне очень приятно. Если оно справедливо. Ничье одобрение мне не дорого бы было, как духовных. Но боюсь, что оно невозможно».³²

Еще до окончания печатания книги корректурные оттиски попали в руки председателя Московского цензурного комитета В. Федорова, который, ознакомившись с ними, написал 14 января 1884 г. следующее заключение на имя начальника Главного управления по делам печати Е. М. Феоктистова: «Сочинение читается с большим интересом и возбуждает полное внимание. По существу же оно должно быть признано крайне вредной книгой, так как подрывает основы государственных и общественных учреждений и вконец рушит учение церкви. По получении книги я полагал бы немедленно задержать выпуском из типографии и экземпляр отправить в духовную цензуру; что же касается до судебного преследования, то предоставляю вопрос этот благоусмотрению вашего превосходительства. С своей стороны, я бы думал, что судебное преследование по такому сочинению невозможно».

После этого оттиски «В чем моя вера?» были переданы в Московский духовный цензурный комитет, который, за подписью протоиерея М. Боголюбского, сообщил Московскому цензурному комитету, что новая книга Толстого развенчивает всех «исказителей Евангелия», в том числе и апостола Павла, и порицает все церковные и государственные установления. «Все самые вредные направления мысли, как-то: социализм, коммунизм и проч., по мнению Толстого, суть части учения Христова, проносимые церковью». По мыслям, явно противным духу и учению христианства, разрушающим начала нравственного учения его, устройство и тишину церкви и государства, книга Льва Толстого «В чем моя вера?» принадлежит к числу сочинений, о которых говорит 239-я статья ценз. устава».³³

Получив заключения московских цензурных комитетов светского и духовного, начальник Главного управления по делам печати 14 февраля отношением за № 785 распорядился «о безусловном запрещении означенного сочинения», с тем чтобы все его экземпляры были доставлены в Главное управление по делам печати. 18 февраля инспектор по типографиям Москвы арестовал в типографии Кушнера 39 экземпляров и препроводил в Главное управление.

19 февраля Толстой пишет А. С. Бутурлину: «Книга моя вышла и запрещена, но не сожжена, а увезена в Петербург, где, сколько мне известно, те, которые запретили ее, разбирают ее по экземплярам и читают. И то хорошо».³⁴ То же писал он и Н. Н. Ге 2—3 марта 1884 г.: «Книгу мою, вместо того чтобы сжечь, как следовало по их законам, увезли в Петербург и здесь разобрали экземпляры по начальству. Я очень рад этому. Авось кто-нибудь и поймет».³⁵

³⁰ Типография в Москве, в которой печаталась «В чем моя вера?».

³¹ С. А. Толстая, Письма к Л. Н. Толстому, «Academia», 1936, стр. 246.

³² Т. 83, стр. 418

³³ Дело Московского цензурного комитета 1884 г. № 22.

³⁴ Т. 63, стр. 155.

³⁵ Там же, стр. 160.

Н.Н. Бахметьев, бывший тогда заведующим делами редакции «Русской мысли», передает следующие подробности запрещения «В чем моя вера?»:

«В Петербурге очень скоро узнали о печатании нового произведения графа Толстого, и оттуда, задолго еще до окончания печатания, пришло распоряжение обязать типографию подпиской в том, что она, как только книга будет отпечатана, передаст все экземпляры в распоряжение инспектора типографий, а сей последний, не передавая в местный цензурный комитет, отправит их в Главное управление по делам печати. Все это, конечно, было в точности выполнено. В Петербурге книга передана была в духовную цензуру, ею, конечно, запрещена, и Главному управлению по делам печати оставалось только сжечь ее. Но именно этого-то и не случилось. Все экземпляры без исключения уцелели и теперь находятся в целости и невредимости в частных библиотеках.

Дело в том, что как только стало известно, что книгу решено уничтожить, то в Главное управление посыпались от разных особ просьбы о выдаче им экземпляров этой книги. Тогдашний министр внутренних дел гр. Толстой потребовал присылки ему нескольких экземпляров, попросили и другие министры, главноуправляющие и тому подобные должностные лица; взяли себе по экземпляру и Феоктистов и некоторые из членов Главного управления. В дворцовых и придворных сферах также пожелали иметь несколько экземпляров. Словом, как говорил мне сам Феоктистов и В. М. Юзефович, состоявший тогда членом Главного управления по делам печати, все запрещенное цензурой издание избегло уничтожения и разошлось.

Таким образом, цель издания, хотя и иным, совершенно неожиданным путем, была достигнута: произведение было напечатано вполне легально, его читали и передавали из рук в руки в печатном виде, и можно с уверенностью сказать, что все экземпляры этой обреченной цензурой на сожжение книги существуют и до сих пор. Несколько экземпляров проходило потом через руки московских букинистов-антиквариюв, которые, приобретя их случайно за недорого, конечно, цену, брали по несколько сот рублей за экземпляр. Многие из тех, которые так или иначе добыли себе эту книжку, переплетали ее в очень дорогие художественные переплеты, и мне приходилось видеть несколько таких экземпляров, переплетенных работавшим тогда в Петербурге замечательным художником-переплетчиком Жюлем Мейером».³⁶

III

Не появившись в печатном виде, «В чем моя вера?», так же как и «Исповедь», получила широкое распространение в рукописных, гектографированных и литографированных копиях. Некоторое количество экземпляров рукописных копий «В чем моя вера?» разошлось через самого автора, который в вышеупомянутом письме писал А. С. Бутурлину: «Книга моя ответит на большую часть ваших вопросов... У меня есть и будут рукописные экземпляры. Плачу я за переписку по пятнадцати рублей».

В Гос. музее Л. Н. Толстого в Москве есть полный экземпляр «В чем моя вера?», представляющий собой фотокопию первого печатного издания.

Впервые «В чем моя вера?» вышла в свет во французском переводе Л. Д. Урусова в Париже в 1885 г. под заглавием: «Ma religion»; второе издание в том же году. Фамилия переводчика на книге не указана. Этот перевод был просмотрен и в некоторых местах собственноручно исправлен автором, о чем свидетельствуют письма к нему Л. Д. Урусова. 22 апреля 1884 г. Л. Д. Урусов писал Толстому из Парижа, что он виделся там с литератором Э. Вогиюэ, которого просил просмотреть перевод «В чем моя вера?». «Вогиюэ, — писал Урусов, — выразил готовность прочесть со мною перевод, но прибавил, что, судя по

³⁶ Н. Б.—в, «Л. Н. Толстой и цензура в 80-х годах», «Новое время» 1908, № 11694 от 1 октября.

французским отрывкам и разговорам, встречающимся в «Войне и мире», поправок не нужно. Он думает, что перевод, прочитанный вами и поправленный вашей рукой, не требует исправления». В другом письме, от 23 августа 1885 г., Урусов писал: «Как хорошо вышла двенадцатая глава, в которой я безусловно запретил всякую поправку, взяв слово, что все останется так, как вы исправили собственноручно» (ГМТ). К сожалению, отсутствие рукописи не позволяет определить, какие именно места перевода и как были исправлены Толстым.

В том же 1885 г. появился немецкий перевод «В чем моя вера?» под заглавием: «Worin besteht mein Glaube?» Eine Studie. Aus dem russischen Manuskript übersetzt von Sophie Behr. Наконец в том же году сочинение вышло и в английском переводе, в книге под общим заглавием: «Christ's Christianity» («Христианство Христа»), где были переведены: «Исповедь», «В чем моя вера?» (под заглавием: «What I believe») и «Краткое изложение Евангелия».

Русским читателям из «В чем моя вера?» была доступна лишь часть десятой главы, напечатанная под заглавием «В чем счастье?» в «Русском богатстве» 1886, № 1, стр. 133—149. Этот отрывок помещался потом и в собраниях сочинений Толстого. Кроме того, русские читатели могли знакомиться с запрещенным произведением Толстого по тем выдержкам, которые помещались в сочинениях церковных писателей, написанных с целью опровержения «толстовского лжеучения». Таковы в особенности были: статьи А. Гусева «Исповедь графа Л. Н. Толстого и его мнимоновья вера», напечатанные в «Православном обозрении» 1886, №№ 1—6, 8, 10; 1889, №№ 10—12, и 1890, №№ 1, 2, 4, и отдельно М. 1890; Александра Орфано: «В чем должна заключаться истинная вера каждого человека» («Чтения в Обществе любителей духовного просвещения», 1887, ч. I, и отдельно — М. 1890); И. А. Карышева «Православно-христианский взгляд на основания, принятые гр. Л. Н. Толстым для своего лжеучения, изложенного в сочинении: «В чем моя вера?» (М. 1891).

Полностью «В чем моя вера?» появилась в Женеве в издании М. Элпидина, без указания года. В 1888 г. появилось второе издание, и с тою же пометкой: «второе издание», новое издание его же — в 1892 г., и третье издание — в 1900 г. Затем в Берлине в 1902 г. появилось издание Гуго Штейница и в том же году издание «Свободного слова» (Christchurch), в виде седьмого тома «Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, запрещенных в России». В России «В чем моя вера?» появляется только после 1905 г. В 1906 г. произведение было напечатано в февральской книге журнала «Всемирный вестник» и в отдельных изданиях «Всемирного вестника» и «Посредника». В 1911 г. появляется издание Б. Коха (СПб.), анонимное в Москве (типография П. В. Бельцова); в 1912 г. анонимное в Петербурге (склад издания в магазине Н. И. Холмушина) и второе издание «Посредника».

«В чем моя вера?» вошла и в собрания сочинений Толстого: С. А. Толстой (изд. 12-е, часть тринадцатая, М. 1911, стр. 517—717) и т-ва Сытина под редакцией П. И. Бирюкова (т. XI, М. 1913, стр. 409—566).

ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ

Сохранились следующие рукописи, относящиеся к «В чем моя вера?»:

1. План части «В чем моя вера?». Написан на листке из календаря на 1882 г., стр. 339—340 (24 и 25 ноября). Обратная сторона листка не заполнена.

Мысли, намеченные в плане, были развиты преимущественно в VII—X главах книги.

2. Первая редакция вступления. Копия рукою А. П. Иванова, с исправлениями Толстого и собственноручной вставкой его на отдельном листе. 6 лл. 4°. Содержит начало Дневника «Записки христианина», переработанное, как вступление к запискам религиозного содержания. Начало перечеркнуто. Рукопись начинается словами: «Я прожил на свете 54 года». Конец отсутствует. Перенумерована переписчиком по листам цифрами 1—6.

3. Продолжение вступления. Оригинал рукою Толстого. 5 лл. 4° + 1 л. почтовый (на

обороте не подписанного письма к автору от неизвестной женщины). Служит непосредственным продолжением предыдущей рукописи. Начинается словами: «Но чтобы читатель понял меня, я должен предпослать моим запискам хотя краткое изложение тех христианских положений...» После общего введения содержит начало разбора нагорной проповеди.

4. Копия предыдущей рукописи и продолжение ее, написанное собственноручно автором. 27 лл. 4°, из которых первые 6 лл. и лицевая сторона л. 7 представляют копию, написанную рукою А. П. Иванова, с исправлениями Толстого, а с оборота л. 7 до конца — автограф. Лл. 3—7 вырезаны из тетради. Лл. 8—23 нумерованы переписчиком цифрами 1—16. Оборот л. 9 и лицевая сторона л. 10 не заполнены. Первый лист отсутствует. Рукопись начинается словами: «поступится истиной для человеческих целей». Начало представляет копию рукописи № 3, из которой переписаны лишь лл. 1, 2, 3 и почти вся лицевая сторона л. 4, до слов: «Я читал нагорную проповедь». Рукопись содержит разбор нагорной проповеди и изложение значения заповеди о непротиивлении злу.

5. Копия части предыдущей рукописи, переписанная А. П. Ивановым, с многочисленными исправлениями автора. 36 лл. 80 + 1 л. почтовый с собственноручной вставкой автора. Первые 45 страниц перенумерованы автором цифрами 1—45; далее нумерация прекращается. Между лл. 30 и 31 пропуск нескольких листов. В рукописи введено деление на главы, начинающееся цифрою III и кончающееся цифрою IX. Последние листы отсутствуют. Сравнительно с предыдущей данная рукопись, с одной стороны, значительно сокращена, с другой — в ней развито изложение значения учения о непротиивлении злу и вообще заповедей Христа.

6. Неполная копия предыдущей рукописи. 17 лл., переписанных А. П. Ивановым, с исправлениями автора. Первые 2 лл. нумерованы переписчиком цифрами 12 и 13; лл. 10—14 нумерованы автором по страницам цифрами 9—17; далее нумерация прекращается. Между лл. 5 и 6 пропуск одного листа; между лл. 9 и 10 также замечен пропуск. Копия кончается словами: «Если бы люди, не пытаюсь исполнить предписанное». Большинство страниц перечеркнуто переписчиком в знак того, что эти страницы им переписаны.

7. Рукопись всего произведения, озаглавленная: «Записки моей жизни 1881-го года». Это заглавие переправлено из «Записки христианина». 622 лл., из которых 514 лл. 4°, а 108 лл. меньшего размера. Первые листы вырезаны из тетради; они относятся к рукописи № 4. Рукопись переписана рукою А. П. Иванова, с исправлениями автора. Ранее хранилась в Отделе рукописей Государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, куда поступила в 1884 г. через Н. Н. Страхова, как это указано в «Отчете императорской Публичной библиотеки за 1884 г.» (СПб. 1887, стр. 104). В этой редакции особенно значительные исправления и дополнения сделаны в главах, в окончательной редакции соответствующих главам: IV (о значении учения непротиивления), V (об отношении закона Моисея к учению Христа), VI (о заповедях Христа), VIII (о понятии воскресения и вечной жизни), X (в чем счастье), XI (о церкви) и XII (заключительной). Из этой рукописи мы печатаем вариант № 2.

8. Неполная копия предыдущей рукописи. Заглавия не имеет. Переписана рукою переписчика с многочисленными поправками Толстого и содержит нумерованных 252 лл. 4° + 3 лл. 4° и 1 л. in folio. Лист 135 вырван. Разделена на семнадцать глав, в окончательной редакции соответствующих первым десяти главам. В этой рукописи сокращены цитаты из Библии и ее толкований, а также филологические рассуждения о слове «жизнь» по-еврейски (гл. XIV). На лл. 106, 126, 194 и др. имеются замечания Л. Д. Урусова.

9. Дальнейшая редакция вступления. Копия рукою переписчика с исправлениями автора. 16 лл. 4°. Рукопись не озаглавлена; перенумерована переписчиком по листам.

10. Копия предыдущей рукописи с поправками автора. 16 лл. 4°. Первые 9 лл. перенумерованы переписчиком. С оборота л. 9 начинается собственноручный текст автора; лл. 13—16 не заполнены. Рукопись первоначально была озаглавлена: «Как мне открылось учение Христа». Это заглавие было зачеркнуто и вместо него написано: «Как мне открылся

смысл учения Христа». Это название также зачеркивается и заменяется словами: «В чем христианское учение». Наконец и это заглавие заменяется окончательным: «В чем моя вера?».

11. Неполная копия предыдущей рукописи. Переписана рукою переписчика, с исправлениями автора. 17 лл. 4°. Рукопись перенумерована переписчиком по листам цифрами 1—18; отсутствуют (по нумерации) лл. 6, 7 и 15. Предпоследний лист содержит несколько собственноручных строк автора; последний лист не заполнен.

12. Копия предыдущей рукописи. Переписана рукою переписчика, с исправлениями автора. 14 лл. 4°. Содержит вступление и часть I главы окончательной редакции.

13. Неполная первая редакция одиннадцатой главы. Автограф. 7 лл. in folio, написанных на бланках сельскохозяйственных анкет, рассылавшихся, вероятно, тульским земством своим корреспондентам. Перенумерована переписчиком по листам. Обратная сторона листов не заполнена.

14. Разрозненные черновики разных редакций. Автографы и копии. 592 лл. разных размеров, от 4° до обрезков в несколько строк. Один из черновиков написан на повестке Толстому Тульского окружного суда от 1 сентября 1883 г. о назначении его присяжным на заседание суда в Крапивне, другой — на письме к нему А. Д. Ушинского от 17 октября 1883 г.

15. Наборная рукопись. 111 лл. 4°, переписанных четырьмя переписчиками, в том числе С. А. Толстой и А. П. Ивановым. 4 лл. не заполнены. Рукопись сохранилась не полностью; отсутствуют главы II—VII (по окончательной редакции). Исправления автора, сравнительно незначительные в первых главах, очень увеличиваются в тексте, соответствующем XI—XII главам окончательной редакции. Последний лист имеет подпись и дату: «Лев Толстой. 28 октября. Москва».

16. Первая редакция заключительной (XII) главы. Автограф. 2 лл. 4°. Заглавие: «В чем же моя вера?».

17. То же. Второй вариант. Автограф. 1 л. 4°. Заглавие: «XII. В чем моя вера?». Страница не дописана и почти вся перечеркнута, кроме последних четырех строк.

18. То же. Третий вариант. Автограф. 3 лл. in folio. Заглавие: «XII. В чем моя вера».

19. То же. Четвертый вариант. Автограф. 11 лл. 4° и 1 л. in folio. Рукопись нумерована автором; отсутствуют лл. 2 и 5. Заглавие: «XII. В чем моя вера». Эта рукопись была сдана в типографию, о чем, кроме пятен от типографской краски, свидетельствует также надпись автора на обложке: «Набирать. В самый конец». Лл. 7 и 8 были для ясности собственноручно переписаны автором; автографы этих листов также сохранились.

20. Разрозненные корректурные листы с исправлениями автора. 54 гранки (или части гранок) и 44 лл. рукописных вставок. В числе сохранившихся гранок имеется и последняя с датой: «Москва. 28 ноября 1883 г.» и с пометой автора на обороте:

«Прошу всё верстать. Всё лежит по порядку. Первые 9 гранок вы прислали мне не исправив. Пожалуйста, поспешите.

Л. Толстой».

Сохранившиеся гранки составляют, несомненно, лишь малую часть всех исправленных автором корректур. Отсутствуют корректуры вступления и глав I и IV; очень немного корректур, относящихся к главам II и V. Корректур в листах нет совершенно.

О судьбе корректур «В чем моя вера?» имеются следующие сведения. Дмитрий Митрофанович Щепкин, сын известного публициста, автора работ по экономическим вопросам, гласного Московской городской думы Митрофана Павловича Щепкина (1832—1908), в составленной для Музея Л. Н. Толстого записке о своем отце утверждает, что «печатание «В чем моя вера?», начавшееся в конце 1883 г., Лев Николаевич осуществлял при помощи [М. П.] Щепкина, который держал корректуру всего издания. Уже в корректуре работа подвергалась большим частичным и общим переделкам, по которым между Львом Николаевичем и Щепкиным происходил оживленный обмен мнений... Все корректурные листы, испещренные переделками, хранились у Щепкина. В 1898 г. он передал весь этот

материал известному историку, директору Исторического музея И. Е. Забелину. Я лично, завертывая эту корректуру при передаче ее Забелину, оставил себе на память несколько листов, в том числе последний лист окончательной корректуры с пометкой Льва Николаевича... Оставленные мною листки, за исключением последнего, по просьбе М. О. Гершензона, я передал ему в его коллекцию автографов». (В настоящее время и эти листки хранятся в составе корректур «В чем моя вера?» в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.)

Архив И. Е. Забелина передан им был в Отдел рукописей Исторического музея; однако корректур «В чем моя вера?» в нем в настоящее время не имеется.

По сохранившимся корректурам, ввиду их неполноты, нельзя составить полного представления о работе, произведенной Толстым в корректурах. С несомненностью можно утверждать лишь то, что были значительно расширены главы VI (о заповедях Христа), VIII (о понятии воскресения по Евангелию), X (о бедственности «мирской жизни» и счастья жизни по учению Христа). В главу XI была сделана большая вставка о разрешении убийства по «Катехизису» Филарета.

Печатаем «В чем моя вера?» по изданию 1884 г., лично прочитанному и исправленному автором в корректурах, с исправлением опечаток. Два экземпляра этого издания, из которых один принадлежал ранее С. А. Толстой, а другой — М. П. Щепкину, хранятся в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. 31533. *Я недавно с еврейским раввином читал V главу Матфея* — Еврейский раввин, с которым Толстой изучал еврейский язык и читал Библию, — московский раввин Соломон Алексеевич Минор (Залкинд) (1826—1900).

2. 31928. *...при встрече с моими приятелями, прокурорами, судьями* .— Из представителей судебного мира Толстой в период писания «В. чем моя вера?» был близок с Александром Михайловичем Кузминским (1843—1917), женатым на сестре его жены Т. А. Берс и занимавшим в то время должность прокурора в Кутаисе и затем в Тифлисе, и Николаем Васильевичем Давыдовым (1848—1920), в то время прокурором Тульского окружного суда.

3. 32838. *...переписка православного славянофила с христианином — революционером*. Толстой имеет в виду переписку Михаила Александровича Энгельгардта (1861—1915) с славянофилом Иваном Сергеевичем Аксаковым (1823—1886). Эта переписка, относящаяся к ноябрю—декабрю 1882 г., была прислана Толстому М. А. Энгельгардтом в копии. Напечатана в «Письмах Толстого и к Толстому», Гиз, 1928, стр. 317—325.

4. 33334-35. *...тот мир, который учрежден людьми для погибели их, есть мечта бред сумасшедшего*. — Мысль о безумии существующего устройства жизни впервые была высказана Толстым в письме к В. И. Алексееву в ноябре или декабре 1882 г. в следующих словах: «Я довольно спокоен, но грустно часто от торжествующего самоуверенного безумия окружающей жизни. Не понимаешь часто, зачем мне дано так ясно видеть их безумие, и они совершенно лишены возможности понять свое безумие и свои ошибки».³⁷ Чем далее, тем все более и более настойчиво Толстой высказывает это свое убеждение, которое с особенной силой было им выражено в статьях последних лет его жизни: «Номер газеты» (1909) и «О безумии» (1910) (т. 38).

5. 36737_38. *...крестьянин отказался от военной службы* .— Иван Васильевич Сютаев (ум. в феврале 1928 г., в возрасте около 80 лет), сын тверского крестьянина Василия Кирилловича Сютаева (ум. летом 1892 г., около 80 лет), которого Толстой очень уважал. Под влиянием отца И. В. Сютаев в 1877 г. отказался от военной службы и просидел несколько лет

³⁷ Т. 63, стр. 106.

в разных тюрьмах, в том числе и в Шлиссельбургской крепости. (К. С. Шохор-Троцкий, «Сютаев и Бондарев» — «Толстовский ежегодник 1913 года», изд. Общества Толстовского музея в С.-Петербурге и Толстовского общества в Москве, СПб. 1914, отд. «Статьи и материалы», стр. 11.)

6. 38133. *Марк Аврелий говорит.* — Приводимая Толстым цитата заимствована из пятого отдела (§ 21) книги Марка Аврелия и в точном переводе гласит так: «Чти наиболее совершенное из существующего в мире; им будет то, что всем пользуется и всем правит. Равным образом почитай наиболее совершенное из существующего в тебе: оно сродни первому. Ибо и в тебе оно — то, что пользуется всем другим, а твоя жизнь направляется им» (Марк Аврелий, «Наедине с собой. Размышления». Перевод с греческого и примечания С. Роговина, изд. М. и С. Сабашниковых, М. 1914, стр. 65—66).

7. 38137. *Эпиктет говорит.* Приводимого Толстым изречения в афоризмах Эпиктета не содержится.

8. 38144. *В книге Конфуция сказано.* — Приводимая Толстым мысль Конфуция открывает книгу Конфуция «Великая Наука». Дословный перевод следующий: «Великая Наука, или мудрость жизни состоит в том, чтобы раскрыть и поднять светлое начало разума, которое мы все получили с неба; она состоит в том, чтобы обновить людей, в том, чтобы научить людей свое высшее назначение полагать в совершенстве, иначе сказать в высшем благе» (П. А. Буланже, «Жизнь и учение Конфуция», изд. «Посредник», М. 1903, стр. 103).

9. 38538. *Можно по выражению Паскаля.... к которой мы все бежим.* — Указанное Толстым место из книги Паскаля в точном переводе гласит так: «Мы беззаботно стремимся в пропасть, поставивши что-нибудь перед собою, чтобы помешать себе видеть ее» (Блез Паскаль, «Мысли (о религии)», перевод с французского П. Д. Первова, изд. 2-е, М. 1899, стр. 39).

10. 38635. *...сгоревшие в бердичевском цирке.* — Упомянутый Толстым пожар бердичевского цирка, принадлежавшего Людгенсу и Ферони, произошел 1 января 1883 г. в десять часов вечера. В цирке шло представление; в этот вечер было взято шестьсот двадцать платных билетов. Загорелось за кулисами от неизвестной причины. Стены цирка, сделанные из двух рядов, досок, промежутков между которыми для тепла был заложен соломой, быстро запылали. Публика в панике бросилась к выходу; он был только один, и то отворившийся внутрь. Пока напором толпы были выдавлены: двери, причем многие были задавлены, внутренность цирка была вся в пламени. В узких дверях, заваленных раздавленными, происходили настоящие бои; выбирались только сильнейшие; толпа внутри гибла в огне и задыхалась в дыму. Вскоре обрушившаяся крыша, на которой было сложено несколько возов сена, сделала спасение оставшихся совершенно невозможным. Пожарные, пьяные по случаю праздника, явились только через час и без воды. Весь цирк с конюшнями, лошадьми и всем имуществом сгорел дотла. Большинство трупов обгорело с головы; видно, что горели они стоя, сразу целой массой. Некоторые трупы до того обгорели, что в них невозможно было узнать даже форм человеческого тела. По полицейским сведениям, в огне погибло около трехсот человек; по частным сведениям — еще больше.

11. 38626. *...погибшие на кукуевской насыпи.* — 29 июня 1882 г. днем в 3 часа 30 минут из Москвы по Московско-Курской железной дороге вышел почтовый поезд № 3. На 296-й версте, между станциями Чернь и Бастыево, близ деревни Кукуевка, произошла катастрофа. Ночью в этом месте страшным ливнем вымыло двадцать колен чугунной трубы около полутора аршин в диаметре и насыпь над нею вышиною около одиннадцати сажен. В 3 часа 45 минут утра поезд достиг места обвала. В несколько секунд багажный и семь пассажирских вагонов обрушились в промоину, разбились в щепы и были засыпаны землею продолжавшегося обвала. Остальные шесть вагонов оторвались и остались на рельсах. В первый же день после катастрофы было приступлено к работам по извлечению трупов; работало днем и ночью от трехсот пятидесяти до полуторы тысячи человек. Последние трупы были откопаны 13 июля. Всего, по официальным сведениям министерства путей сообщения, было убито сорок два человека, ранено тяжело пятеро (из них двое умерло),

легко ранено сорок пять человек («Московские ведомости», № 208 от 29 июля 1882 г.). См. также Н. В. Давыдов, «Из прошлого», М. 1913, стр. 154—158.

12. 41172. *Credo, quia absurdum est* [верю, потому что нелепо]. — Изречение принадлежит богослову Тертуллиану (ум. ок. 230).

13. 42614-15. *Французы вооружаются.... в 70-м году*. — 19 июля 1870 г. Франция объявила войну Пруссии; война кончилась полным поражением Франции, которая по Франкфуртскому миру, заключенному 19 мая 1871 г., должна была уступить Пруссии Эльзас-Лотарингию и уплатить 5 миллиардов франков контрибуции.

14. 43431-32. *...нет.... в катехизисах Платона*. — Толстой ошибся, утверждая, что в катехизисах митрополита Платона не содержится оправдания войны и смертной казни. В книге «Православное учение, или сокращенная христианская богословия», посвященной наследнику Павлу Петровичу, законоучителем которого был митрополит Платон, сказано при объяснении шестой заповеди Моисея: «Судии, кои повинного предадут на смерть, также и воины, которые, защищая отечество, убивают неприятелей, заповеди сия преступниками назваться не могут. Ибо чрез то они самому богу и правосудию его по знанию своему служат» (изд. 1819 г., М., стр. 190). По толкованию автора, шестой заповедью запрещаются лишь «войны несправедливые» (там же).

РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ ТРАКТАТЫ Л. Н. ТОЛСТОГО

Значение, которое Толстой придавал религиозной мотивировке этических понятий, представило учение Толстого в ложном свете. Толстой сам подал повод к тому, чтобы его учение было понято и обсуждалось прежде всего как учение религиозное. Не удивительно поэтому, что в буржуазном обществе последней четверти XIX и начала XX века за Толстым установилась репутация крупного религиозного деятеля, чуть ли не религиозного реформатора. В этой характеристике сходятся враги Толстого с его последователями и почитателями. И ортодоксальные реакционные церковники, осудившие учение Толстого, и прямые сторонники этого учения — толстовцы — согласны в мнении, будто толстовское учение есть учение преимущественно религиозное.

И действительно, в учении Толстого есть и понятие о боге, и признание за религией значения важнейшего вопроса жизни, и даже некоторые, правда слабые, следы мистического элемента. Отчасти через христианскую веру, в которой Толстой был воспитан в детстве и которая вновь стала этапом его идейно-морального развития в 70—80-х годах, отчасти вследствие некоторых особенностей своего художественного мышления Толстой был склонен представлять отношение человека к миру в целом, или ко вселенной, как отношение «работника» к пославшему его в жизнь «хозяину» или как отношение «сына» к «отцу».

Однако все подобные представления имели для Толстого не буквальный религиозный смысл и понимались им не как мистические догматы, но скорее были образами или метафорами, посредством которых Толстой пытался выражать для себя воззрение на жизнь, не поддающееся точному оформлению в отвлеченных понятиях.

Суть этого воззрения была этическая и социальная, а не мистическая, несмотря на явный налет мистики в субъективном выражении этого воззрения. Еще более далеко оно было от представлений о боге, свойственных догматическим религиям, в том числе и христианской.

То, что обычно в буржуазной литературе о Толстом называют «религиозным кризисом» Толстого или поворотом к религии, происшедшим во второй половине 70-х годов, в действительности мало похоже на религиозное «обращение».

Философские искания Толстого в 70-х годах были сосредоточены не на вопросе религиозном в прямом смысле слова. Искания эти были продолжением тех этических и

социальных исследований, которые занимали ум Толстого и составляли предмет своеобразного художественно-философского экспериментирования в его ранних повестях, рассказах и в больших романах зрелого периода.

Религиозная форма, какую приняли те же искания Толстого в 70-х годах, была выражением слабости и непоследовательности мысли Толстого, была субъективной мечтой, в которую Толстой, не сумев справиться с ясно сознававшимися им противоречиями русской жизни, облек объективное содержание и объективную суть этих противоречий.

Идеалистическая реакция, усилившаяся после поражения первой русской революции, стремилась представить религиозные искания Толстого как осуществление «синтеза», не удавшегося предшествующим философам — Конту, Фейербаху. Согласно этой точке зрения, выраженной В. Базаровым, «Толстой впервые объективировал, т. е. создал не только для себя, но и для других, ту *чисто человеческую* религию, о которой Конт, Фейербах и другие представители современной культуры могли только субъективно мечтать»³⁸.

Реакционность и безусловную ложность этого понимания религии Толстого вскрыл Ленин. В статье «Герои «оговорочки» Ленин показал, что взгляд Базарова и многих примыкающих к Базарову публицистов на религию Толстого и на ее значение в идейной истории русского общества основан на обращении действительного отношения. «Более полувека тому назад, — писал Ленин, — Фейербах, не умея «найти синтеза» в своем миросозерцании, представлявшем во многих отношениях «последнее слово» немецкой классической философии, запутался в тех «субъективных мечтах», отрицательное значение которых давно уже было оценено действительно передовыми «представителями современной культуры». Объявить теперь, — продолжал Ленин, — что Толстой «впервые объективировал» эти «субъективные мечтания», значит уходить в лагерь поворачивающих вспять, значит льстить обывательщине, значит подпевать веховщине»³⁹.

Особенно нелепым извращением действительной сути религии и мировоззрения Толстого Ленин считал утверждение Базарова, будто «идеализация патриархально-крестьянского быта, тяготение к натуральному хозяйству и многие другие утопические черты толстовства, которые в настоящее время выпячиваются на первый план и кажутся самым существенным, в действительности являются как раз субъективными элементами, не связанные необходимой связью с основой толстовской «религии»⁴⁰.

«Итак, — иронизировал по поводу этого утверждения Базарова Ленин, — «субъективные мечты» Фейербаха Толстой «объективировал», а то, что Толстой отразил и в своих гениальных художественных произведениях и в своем полном противоречий учении отмеченные Базаровым экономические особенности России прошлого века, это «как раз субъективные элементы» в его учении. Вот что называется, — говорит Ленин, — попасть пальцем в небо»⁴¹.

Напротив, ленинский анализ вскрывает и в «религии» Толстого то же противоречие между отраженными в мысли Толстого особенностями развития пореформенной России и субъективной неспособностью Толстого найти действительное разрешение, или «синтез» этих противоречий. Неспособность эта и вылилась в субъективных религиозных мечтаниях Толстого.

«Именно синтеза, — писал Ленин, — ни в философских основах своего

³⁸ Базаров, «Толстой и русская интеллигенция», «Новая заря», 1910, X (цит. по статье В. И. Ленина «Герои «оговорочки», Сочинения, т. 16, стр. 339).

³⁹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 16, стр. 339,

⁴⁰ Там же, стр. 339—340,

⁴¹ Там же, стр. 340.

миросозерцания, ни в своем общественно-политическом учении Толстой не сумел, вернее: не мог найти»⁴². «Не из единого, не из чистого и не из металла отлита фигура Толстого»⁴³.

И действительно, анализ открывает в «религии» Толстого то самое противоречие, которым, как показал Ленин, характеризуются все основные стороны мировоззрения Толстого.

С редкой даже для большого человека проницательностью Толстой срывает с официальной религии покров благовестия, несущего якобы учение любви и сострадания к страждущему человечеству. В иерархии церковных учреждений и чинов Толстой обнажил систему сил, активно служащих обществу и государству имущих, поработивших трудовое большинство. Толстой показал, что служению этому подчинено в церковной религии крепостнической и капиталистической России все содержание ее догм и все их истолкования, весь культ, все общественно-политическое поведение ее служителей.

Но вместе с тем, обличая церковь и церковную идеологию, Толстой далек от отрицания религии в самом ее существовании. На место отвергнутой церковной веры он стремится поставить утонченную форму религии. Толстой отбрасывает религиозную догматику, но верит в бога как в «хозяина», пославшего человека в жизнь в качестве «работника» и сообщившего ему учение нравственности. Толстой отрицает софистику, с помощью которой церковь освящала и оправдывала социальное угнетение и формы государственности, поддерживавшие это угнетение. Но вместе с тем Толстой сам развивает проповедь непротивления злу насилием, не замечая, что объективным результатом этой проповеди — если бы она увлекла трудящуюся часть общества — могло быть только торжество и упрочение неравенства и насилия угнетателей над угнетаемыми.

Толстовское понятие религии прежде всего отрицательно: это — критика духовного состояния современного Толстому русского общества, то есть капиталистического общества пореформенного и предреволюционного периода. Толстовская «религия» по своему существу должна быть поставлена рядом с такими явлениями, как толстовская критика разделения труда, критика науки, критика искусства и т. д. Толстой не столько пытается раскрыть или обосновать положительное понятие о боге, как это делают настоящие мистики, сколько осуждает и обличает тот строй духовной жизни современного ему зарубежного и русского общества, при котором члены этого общества утрачивают всякое сознание разумного смысла жизни. Религия Толстого есть не столько вера (хотя в ней, конечно, есть элемент религиозной веры), сколько *протест*. Это — протест против безыдейности, беспринципности капиталистического общества, против утраты господствующей частью этого общества представления о высоких духовных задачах, способных руководить жизнью и действием.

В атеизме, в безверии, в религиозном равнодушии и безразличии современного общества Толстой осуждает — как это ни странно может показаться — не столько отсутствие веры в бога или отрицание существования бога, сколько признание существующего порядка, примирение со всем существующим так, как оно существует. Сам Толстой выразил эту мысль с полной ясностью. «Религия людей, не признающих религии, — писал Толстой, — есть религия покорности всему тому, что делает сильное большинство, т. е., короче, религия повиновения существующей власти».

Но именно потому, что толстовская религия есть больше критика, чем догма или мистическое настроение, Толстой на первый план в понятии веры выдвигает не собственно религиозное ее содержание, а способность веры быть силой жизни. «И я понял, — писал Толстой, — что вера... не есть только «обличение вещей невидимых» и т. д., не есть откровение (это есть только описание одного из признаков веры), не есть только отношение

⁴² В. И. Ленин, Сочинения, т. 16, стр. 339.

⁴³ Там же, стр. 341—342.

человека к богу (надо определить веру, а потом бога, а не через бога определять веру), не есть только согласие с тем, что сказали человеку, как чаще всего понимается вера, — вера есть знание смысла человеческой жизни, вследствие которого человек не уничтожает себя, а живет. Вера есть сила жизни. Если человек живет, то он во что-нибудь да верит. Если б он не верил, что для чего-нибудь надо жить, то он бы не жил... Без веры нельзя жить».

В центре толстовского понятия веры стояло противоречие между конечным существованием личности и бесконечным существованием мира. Толстой искал такого решения противоречия, при котором смысл конечного и преходящего существования личности не уничтожался бы, не превращался в бессмыслицу неизбежно предстоящим уничтожением личности, ее погашением в бесконечности мирового целого.

Это противоречие не было для Толстого лишь отвлеченным противоречием личного и всеобщего, конечного и бесконечного. Толстой сознавал это противоречие как жизненное противоречие, захватывающее наиболее глубокое ядро его личного существования. Это противоречие конечного и бесконечного открылось ему в мыслях о смерти, охвативших его в 70-х годах в ужасе перед «нирваной», в сознании бессмысленной жизни, неумолимо обреченной на уничтожение.

В «Исповеди» Толстой очень точно сформулировал основную цель своих религиозных исканий. «Нужно и дорого, — писал он здесь, — разрешение противоречия конечного с бесконечным и ответ на вопрос такой, при котором возможна жизнь».

Итак, толстовская «вера» — только синоним силы жизни, осмысленного существования, условие сознающей свое назначение деятельности.

Однако это стремление вернуть жизни утерянное сознание ее оправданности и осмысленности связывается у Толстого с понятием не этики и не социальной философии, к которой оно должно было бы принадлежать, а с понятием религии. Стремление крепить корень жизни Толстой черпает не в силах самой жизни, а в религиозной традиции.

Здесь в мышлении Толстого — явное противоречие. Значительность этого противоречия особенно оттеняется тем, что понятие религиозной веры, как это было ясно самому Толстому, не выдерживает критики разума. «Все эти понятия, — писал Толстой, — при которых приравнивается конечное к бесконечному и получается смысл жизни, понятия бога, свободы, добра, мы подвергаем логическому исследованию. И эти понятия не выдерживают критики разума».

И все же Толстой, несмотря на явное и им самим признанное противоречие с началами разума, считает необходимым принять и отстаивать религиозное мировоззрение. И в этом вопросе Толстой сознательно становится на точку зрения патриархального крестьянина с его наивной и некритической верой. Безыдейности господствующих классов капиталистического общества, отсутствию у них сознания смысла жизни и своего назначения Толстой противопоставляет не те понятия о целях жизни и борьбы, которые в его время уже были выработаны великими мыслителями и вождями рабочего класса, но те понятия о духовном смысле жизни, которые казались ему совпадающими и которые в значительной мере действительно совпадали с точкой зрения многомиллионного крестьянства.

Толстому кажется, что именно в вере крестьянский народ находит разрешение основного мучившего Толстого противоречия, противоречия конечного и бесконечного, личного и общего. Именно вера — так думал Толстой — дает народу ту силу жизни и то сознание смысла жизни, которые утрачены господствующими классами современного общества. «Понятие бесконечного бога, божественности души, связи дел людских с богом, понятия нравственного добра и зла — суть понятия, выработанные в скрывающейся от наших глаз исторической дали жизни человечества, суть те понятия, без которых не было бы жизни и меня самого...» По Толстому, религия, и только она одна, содержит в себе разрешение противоречия конечного с бесконечным. Напротив, безрелигиозное сознание образованных людей современного общества будто бы уничтожает — так думает Толстой — возможность этого разрешения: «И это единственное разрешение, которое мы находим везде, всегда и у всех народов, — разрешение, вынесенное из времени, в котором теряется

для нас жизнь людей, разрешение столь трудное, что мы ничего подобного сделать не можем, — это-то разрешение мы легкомысленно разрушаем с тем, чтобы поставить опять тот вопрос, который присущ всякому и на который у нас нет ответа».

Но хотя Толстой пришел к убеждению, что смысл и сила жизни могут быть почерпнуты только в народной вере, это убеждение немедленно вступило в нем в противоречие с другим убеждением, которое запрещает считать истинным все несовместимое с началами знания и разума.

Противоречие это осложнилось еще и тем, что народная, крестьянская вера, как это знал Толстой, была не единственной формой религиозного отношения к жизни. На роль учения, разрешающего будто бы все философские противоречия и трудные вопросы, претендовала церковная *богословская* вера. Больше того. Церковная — богословская — форма религии рассматривала себя как учительницу, наставницу и руководительницу народа в делах веры. Поэтому Толстой признал необходимым изучить и исследовать содержание и обоснование церковного богословского вероучения.

Но по мере того как Толстой углублялся в это исследование, ему все очевиднее становилось, что догматы, к которым церковное вероучение сводило содержание христианской религии, не только не могли быть «силой жизни», выводящей личность из тупика одолевающих ее противоречий, но что поверить в эти догматы можно только ценой отказа от элементарнейших и неотменяемых условий и законов логики, знания, разума.

Вместе с тем обнаружилось, что система догматов церковного богословского вероучения не только противоречит логике, знанию, разуму. Выяснилось, что система догматического богословия вся построена на стремлении во что бы то ни стало оправдать сложившиеся в церкви за долгое время ее существования понятия о религии. Понятия же эти поддерживают существующий, основанный на насилии и угнетении, общественный порядок и прежде всего оправдывают то место и ту роль, какие в этом порядке принадлежат самой церкви.

Свои критические исследования Толстой осуществил в «Критике догматического богословия». Предшествующей «Критике» работой была «Исповедь» — философско-религиозная автобиография Толстого. К «Исповеди» и к «Критике догматического богословия» примыкают сочинения «Соединение, перевод и исследование четырех Евангелий», «В чем моя вера?», «Царство божие внутри вас». В этих последних работах Толстой излагает собственные взгляды на религию, сложившиеся в нем в результате критики официального учения православной церкви. Однако и в этих трактатах, которые должны были изложить позитивные взгляды Толстого, на первое место выдвигается не положительное, но *полемическое* их содержание. И в религиозных сочинениях Толстой выступает прежде всего как критик, полемист и антагонист признанного богословского вероучения.

Иначе не могло и быть. Учение Толстого не могло не стать критикой догматического богословия. Ведь «религия» Толстого была прежде всего протестом (правда, противоречивым, непоследовательным) против безыдейности господствующей части капиталистического общества, против отсутствия у людей, принадлежащих к этой части общества, какого бы то ни было твердого этического мировоззрения, способного стать руководством в практической жизни. Призыв Толстого к восстановлению религиозности был прежде всего своеобразной формой протеста против этической беспринципности господствующих классов капиталистического общества, хотя к одному лишь этому протесту он, разумеется, не сводится, будучи одновременно и выражением *слабости, непоследовательности* толстовской мысли, архаичности ее устремлений.

В толстовской критике христианского и прежде всего православного христианского богословия все основание критики покоится не на ученом историческом исследовании, не на критическом сопоставлении православного богословия и его толкований с богословием и с толкованиями других христианских церквей. Основу толстовской критики составляет понятие о сущности религии и христианства, выработанное Толстым. Понимает же под

религией и под христианством Толстой прежде всего не философское и даже не религиозное учение о мире и о боге, а нравственное (этическое) учение о том, что придает смысл человеческой жизни. Иными словами под религией Толстой понимает учение о пути жизни, о нравственных началах, которыми должен руководиться в своем отношении к жизни и к людям человек, ищущий в жизни нравственного смысла.

Поэтому толстовское понимание «откровения» не только резко отличается от церковного, но во многом ему прямо противоположно. Церковное толкование понимает под «откровением» таинственное, мистическое сообщение богом людям не постижимых для разума положений веры о природе бога, об отношении бога к миру и к человеку и т. д.

Толстой не отрицает формально мистического характера религиозной веры. Он сам называет «откровением» — «то, что открывается перед разумом, дошедшим до последних своих пределов, — созерцание божественной, т. е. выше разума стоящей, истины». Однако для Толстого в религии самое важное — не ее мистическое и сверхразумное содержание. Для Толстого в религии существует только предлагаемый ею ответ на вопрос о нравственном смысле жизни, а также на вопрос о нравственных условиях осуществления этого смысла в человеческой жизни. Тем самым содержание религиозных учений Толстой сводит главным образом к учению практической этики. Одновременно с этим Толстой настаивает на том, что предлагаемое христианством этическое учение может привести к оправданию жизни, к утверждению ее смысла только при условии, если основы религиозного учения и содержание нравственных предписаний не будут противоречить разуму.

Таким образом метафизическое содержание религии Толстой сводит к ее этическому содержанию, а ее мистический элемент стремится подчинить элементу рационалистическому. Поэтому, сформулировав приведенное выше определение «откровения», Толстой дополняет его другим, не только отличным от первого, но, несомненно, ему противоречащим. «Откровением, — поясняет Толстой, — я называю то, что дает ответ на тот не разрешимый разумом вопрос, который привел меня к отчаянию и самоубийству, — какой смысл имеет моя жизнь? Ответ этот, — утверждает Толстой, — должен быть понятен и не противоречить законам разума, как противоречит, например, утверждение о том, что бесконечное число — чёт или нечет. Ответ... должен быть не только понятен и не произволен, а неизбежен для разума, как неизбежно признание бесконечности для того, кто умеет считать. Ответ должен отвечать на мой вопрос: какой смысл имеет моя жизнь? Если он не отвечает на этот вопрос, то он мне не нужен». Зная, что православная церковь приписывает себе обладание высшими основами, в том числе и этическими, Толстой необходимо должен был искать в догматическом богословии обоснования *практической этики*.

Но он не нашел там этого обоснования. Более того, он вскоре убедился, что церковное понимание христианской религии не только не обосновывает никаких этических требований и не содержит никакого протеста против безнравственного характера всего уклада жизни капиталистического общества, но что церковное вероучение все направлено на оправдание существующего — основанного на угнетении крестьян и рабочих — общественного порядка.

По мысли Толстого, христианство, как и всякое религиозное учение, заключает в себе две стороны: 1) учение о жизни людей — о том, как надо жить каждому отдельно и всем вместе — этическое и 2) объяснение, почему людям надо жить именно так, а не иначе — метафизическое учение». Человек должен жить так, а не иначе потому, что таково его назначение, или назначение человека таково, а потому человек должен жить именно таким образом. Эти две стороны — «этическая» и, по терминологии Толстого, «метафизическая» — находятся, по Толстому, во всех религиях мира. Такова религия браминов, Конфуция, Будды, Моисея, такова же и христианская религия: «Она учит жизни, как жить, и дает объяснение, почему именно надо так жить».

По Толстому, все религии, развив двойственное — «этически-метафизическое» — содержание своих учений, подверглись со временем перерождению. По свойственной им слабости люди отступали от «этического» учения религии, и тогда из их среды являлись

лица, которые брались оправдать это отступление. Лица эти разъясняли «метафизическую» сторону религиозного учения так, чтобы этические требования становились необязательными и чтобы они заменялись внешним богопочитанием — обрядами.

Это, по Толстому, общее всем религиям изменение первоначального — этического — содержания религиозного учения ни в одной из них не выразилось так резко, как в христианстве. В христианстве, как его понимает Толстой, «метафизика» и «этика», во-первых, «до такой степени неразрывно связаны и определяются одна другою, что отделить одну от другой нельзя, не лишив всё учение его смысла». Во-вторых, христианство, как его понимает Толстой, уже само по себе есть *отрицание* «не только обрядных постановлений иудаизма, но и всякого внешнего богопочитания».

Но именно поэтому происшедший и в христианстве и общий для христианства с другими религиями разрыв между «метафизикой» и «этикой» должен был — так полагал Толстой — «совершенно извратить учение и лишить его всякого смысла». Так оно, по Толстому, и случилось. Разрыв между «этическим» учением о жизни и «метафизическим» объяснением жизни «начался с проповеди Павла, не знавшего этического учения, выраженного в Евангелии Матфея и проповедовавшего чуждую Христу метафизическо-каббалистическую теорию». Окончательно же осуществился этот разрыв во времена императора Константина, когда начались вселенские соборы и когда центр тяжести христианства переместился «на одну метафизическую сторону».

В результате этого смещения центра тяжести христианство в большей степени, чем какая-либо другая из крупных исторических религий, утратило составляющее некогда его центральную часть *этическое* учение.

Толстой доказывает эту мысль, сопоставляя христианство с другими религиями. Все религии за исключением церковно-христианской, «требуют от исповедующих их, кроме обрядов, исполнения еще известных хороших поступков и воздержания от дурных». Так, иудаизм требует обрезания, соблюдения субботы, милостыни, юбилейного года и еще многого другого. Магометанство требует обрезания, ежедневной пятикратной молитвы, десятины бедным, поклонения гробу пророка и много другого. И так обстоит дело со всеми религиями. «Хороши ли, дурны ли эти требования, но это требование поступков».

Напротив, церковное христианство не предъявляет никаких *этических* требований. «Нет ничего, — утверждает Толстой, — что бы обязательно должен был делать христианин и от чего он должен был бы обязательно воздерживаться, если не считать постов и молитв, самую церковью признаваемых необязательными». Со времен Константина христианская церковь «не требовала никаких поступков от своих членов. Она даже не заявляла никаких требований воздержания от чего бы то ни было». Христианин, следующий церковной вере, «ничего не обязан делать и ни от чего не обязан воздерживаться для того, чтобы спастись, но над ним церковью совершается всё, что для него нужно:...его и окрестят, и помажут, и причастят, и особоруют, и исповедуют даже глухою исповедью, и помолются за него — и он спасен».

Вместо того чтобы руководить людьми в их жизненных действиях, церковь «перетолковала метафизическое учение Христа так, что из него не вытекало никаких требований для жизни, так что оно не мешало людям жить так, как они жили». «Церковь раз уступила миру, а раз уступив миру, она пошла за ним. Мир делал всё, что хотел, предоставляя церкви, как она умеет попевать за ним в своих объяснениях смысла жизни». Мир устанавливал свою во всем противную этическому учению христианства жизнь, а церковь «придумывала иносказания, по которым бы выходило, что люди, живя противно закону Христа, живут согласно с ним».

В результате церковь признала и даже освятила все, что было в языческом мире. «Она признала и освятила и развод, и рабство, и суды, и все те власти, которые были, и войны, и казни, и требовала при крещении только словесного, и то только сначала, отречения от зла; потом при крещении младенцев перестала требовать даже и этого».

Но именно потому, что учение церкви сложилось как оправдание исторически

определенного общественно-политического порядка, со временем, с изменением форм общественной жизни, церковное учение *начало отставать*. Придуманное для оправдания *древней* формы рабства, оно уже не годилось для общества, отменившего эту древнюю форму и сменившего ее на другую.

С другой стороны, несмотря на все свои старания скрыть от верующих истинное — *этическое* — учение Христа, вопреки запрещению переводов библии на национальные языки, пришло время, когда истинное учение Христа — через сектантов и вольнодумцев — стало проникать в народ. Так как народ не мог жить без этического учения и так как церковь извратила и даже старалась скрыть этическое учение христианства, то учение о жизни «эмансипировалось от церкви и установилось независимо от нее».

Так, «сами люди помимо церкви уничтожали рабство, оправдываемое церковью, религиозные казни, уничтожили освященную церковью власть императоров, пап и теперь начали стоящее на очереди уничтожение собственности и государства...»

В настоящее время «всё, что точно живет, а не уныло злобится, не живя, а только мешая жить другим, всё живое в нашем европейском мире отпало от церкви и всяких церквей и живет своей жизнью независимо от церкви». Так, государственная власть основывается «на предании, на науке, на народном избрании, на грубой силе, на чем хотите, но только не на церкви». Войны и отношения государств устанавливаются «на принципе народности, равновесия, на чем хотите, только не на церковных началах». Государственные учреждения открыто игнорируют церковь: «Мысль о том, чтобы церковь могла быть основой суда, собственности, в наше время только смешна». Наука не только находится в согласии с учением церкви, но «нечаянно, невольно в своем развитии всегда враждебна церкви». Даже искусство, некогда служившее церкви, «теперь всё ушло из нее».

Жизнь не только вся «эмансипировалась» от церкви. Жизнь — так утверждал Толстой — «не имеет другого отношения к церкви, кроме презрения, пока церковь не вмешивается в дела жизни, и ничего, кроме ненависти, как только церковь пытается напомнить ей свои прежние права».

Этим, однако, не ограничивается, по Толстому, извращение религии, имеющееся в церковном учении. Церковь не только извратила и забросила этическое учение христианства. Так как «этическое» учение каждой религии неразрывно связано, как думает Толстой, с учением «метафизическим», то порча первого неминуемо вызвала порчу и второго, породила в церкви стремление — превратить религию в *оправдание существующего порядка* и прежде всего — в *оправдание существующего* зла. В результате и «метафизическая» часть христианства оказалась совершенно извращенной.

Мысль эту Толстой доказывает в «Критике догматического богословия» — одном из самых страстных своих произведений. Книга эта дышит гневом, негодованием, чувством оскорбленной, обманутой и страдающей человечности. Шаг за шагом, параграф за параграфом Толстой излагает догматическое вероучение христианской церкви. Одновременно он рассказывает о своих попытках понять это вероучение, найти в нем разумный смысл и обоснование нравственного поведения. Но во множестве мест терпение иссякает, оскорбленное достоинство мыслителя и нравственного существа заставляют Толстого повысить голос, и тогда с его уст слетают исполненные страдания и ярости слова.

В догматическом богословии Толстого оскорбляет все: и содержание учения, и практическая цель, к которой все оно клонится, и приемы изложения и убеждения.

В приемах изложения Толстой всюду находит «неясность выражений, противоречия, облеченные словами, ничего не разъясняющими, понижение предмета, сведение его в самую низменную область, пренебрежение к требованиям разума и одно и то же постоянное стремление связать внешним, словесным путем самые разнообразные суждения о боге, начиная от Авраама до отцов церкви, и на этом одном предании основать все свои доказательства».

Изложение богословия Толстой находит не только не истинным по существу его содержания, но в значительной части случаев попросту лишенным всякого логического

смысла. «Очевидно, — пишет Толстой, — слова уже тут совершенно оторвались от мысли, с которой были связаны, и не вызывают уже никакой мысли». Так, Толстой «долго делал страшные усилия, чтобы понять, что разумеется, например, под различными духовными естествами, под различением свойств, под умом и волей бога». И все же он не мог добиться понимания и убедился, наконец, что автору догматического богословия «нужно только связать внешним образом все тексты, а что разумной связи между его словами нет и для него самого».

Таким, лишенным всякого смысла, непонятным в своем существе представляется Толстому основной «метафизический», как его называет Толстой, догмат богословия — догмат божественного триединства.

Какое бы значение ни придавало богословие догмату божественного триединства, догмат этот, по Толстому, лишен всякого смысла: с тем, что бог — вместе один и три «никакого понятия не может быть связано». «И потому, — продолжает Толстой, — какой бы авторитет ни утверждал этого, не только все живые и мертвые патриархи Александрийские и Антиохийские, но если бы с неба непрерывающий глас взывал бы ко мне: Я — один и три, я бы остался в том же положении не неверия (тут верить не во что), а недоумения, что значат эти слова и на каком языке, по каким законам могут они получить какой-нибудь смысл». «Невозможно, — восклицает Толстой, — верить тому, чтобы бог, благой отец мой (по учению церкви), зная, что спасение или гибель моя зависит от постигновения его, самое существенное познание о себе выразил бы так, что ум мой, данный им же, не может понять его выражения».

Но Толстой отвергает догмат триединства не только потому, что догмат этот противен человеческому разуму и не имеет основания ни в писании, ни в предании, откуда пытается его вывести при помощи явных натяжек и передержек богословие. Толстой отвергает этот догмат еще и потому, что догмат триединства — в том содержании, какое вкладывается в него церковью, — ни для кого и ни для чего не нужен и что «нравственного правила из него вывести невозможно никакого».

Решающая в глазах Толстого черта догматов — их практическая неприменимость, невозможность вывести из них какие бы то ни было нравственные правила — есть, как думает Толстой, черта не только основного «метафизического» догмата церкви — учения о триединстве. Та же черта отличает, по Толстому, и все прочие догматы церковной веры. При этом чем дальше отстоит догмат от возможности практического — нравственного — его применения, тем больше значение, какое приписывает ему церковь. «Догматы: нисхождения духа, естества Христова, таинства причащения, — чем дальше они были от возможности какого-нибудь нравственного приложения, тем более они волновали церкви».

Толстой не ограничился одной лишь теоретической, логической и практической критикой догматов церковного богословия. Для Толстого первостепенное значение имел также вопрос о том, какой практический повод «заставил церковь исповедовать этот бессмысленный догмат и так старательно подбирать вымышленные доказательства его».

Исследование этого вопроса приводит Толстого к заключению, что церковное понимание догматов имеет *два основания*. Первое из них состоит попросту в грубости и примитивности свойственного церковным писателям понимания текстов писания, которыми обосновываются догматы. «Выписки из писания, — разъяснил Толстой, — показывают, что утверждение этих бессмыслиц происходит не произвольно, но вытекает... из ложного, большей частью просто грубого понимания слов писания».

Второе, по Толстому, основание церковного понимания догматов состоит в утверждаемой церковью *непогрешимости собственных учений*. В свою очередь собственную непогрешимость церковь выводит из непогрешимости церковной иерархии, понятием которой в богословии незаметно подменяется понятие церкви.

В конечном счете все учение церкви, как его преподает богословие, «всё основано на том, чтобы, установив понятие церкви как единой истинной хранительницы божеской истины, подменить под это понятие — понятие одной известной, определенной иерархии».

Но этого мало. В системе догматов и учений богословия Толстой обнаруживает, кроме грубости понимания текстов писания и кроме гордости и самомнения иерархии, отождествившей себя с церковью, а свои учения — с самой истиной, еще и прямую *практическую* цель — стремление внушать верующим такие представления и верования, которые связаны с корыстными — материальными — интересами, иерархии. Так, например, чрезвычайно важное для всей системы богословия учение о благодати «есть, с одной стороны, неизбежное следствие ложной посылки, что Христос искуплением изменил мир, а с другой стороны, оно же и есть основа тех жреческих обрядов, которые нужны для верующих, чтобы отводить им глаза, а для иерархии — чтобы пользоваться выгодами жреческого звания».

Это учение о благодати, цель которого — отвести глаза верующих от неисполнения обещаний искупления и приобретения доходов духовенству, «носит в себе тот ужасный зачаток безнравственности, который извратил нравственно поколения, исповедующие это учение». Обманное учение церкви о том, что человек всегда порочен и бессилен и что все его личные стремления к добру бесполезны до тех пор, пока он не усвоит благодати, — учение это «под корень подсекает всё, что есть лучшего в природе человека».

Введение безнравственного учения о благодати с логической неизбежностью повлекло за собой введение целого ряда еще более безнравственных и грубых учений. За признанием благодати последовало учение, сводящее веру к доверию ко всему, о чем учит иерархия, и к послушанию, за учением о вере как о послушании — учение о механическом действии таинств: крещения, миропомазания, причащения и т. д. В свою очередь необходимость побуждать людей к исполнению отправляемых иерархиями таинств привело к учению о мздовоздаянии, то есть о загробном наказании богом тех, кто при жизни не исполнял таинств. Дойдя до такого результата, учение это выразилось «в ужасающем безобразии»: согласно этому учению, из того, что бог для спасения людей отдал своего сына на казнь, «выходит то, что если поп с причастием опоздает, когда я буду умирать, я пойду если не прямо в ад, то все-таки мне будет худо, много хуже, чем тому, кто нагребил много денег и нанял попа и попов так, чтобы они всегда при нем были».

Итогом исследования Толстого, посвященного догматическому богословию, стало полное отрицание церкви как установления и такое же полное отрицание ее учений. «Как же я могу, — спрашивает Толстой, — верить этой церкви и верить ей тогда, когда на глубочайшие вопросы человека о своей душе она отвечает жалкими обманами, нелепостями и еще утверждает, что иначе отвечать на эти вопросы никто не должен сметь, что во всем том, что составляет самое драгоценное в моей жизни, я не должен сметь руководиться не чем иным, как только ее указанием». «Цвет панталон я могу выбрать, жену могу выбрать по своему вкусу, но остальное, то самое, в чем я чувствую себя человеком, во всем этом я должен спроситься у них — у этих праздных, обманывающих и невежественных людей».

С огромной силой негодования бичует Толстой *лицемерие* церкви, полное расхождение ее современных учений с первоначальным нравственным учением христианства. Отступив от духа христианства, церковь, — доказывает Толстой, — извратила христианское учение до того, что дошла до отрицания его всей своей жизнью: «Вместо уничижения — величие, вместо бедности — роскошь, вместо неосуждения — осуждение жесточайшее всех, вместо прощения обид — ненависть, войны, вместо терпения зла — казни».

Этим лицемерием прикрывается главный и непростительный в глазах Толстого грех церкви — ее *участие в общественном порядке, основанном на угнетении и ограблении трудящихся*. В конечном счете слово «церковь» есть «название обмана, посредством которого одни люди хотят властвовать над другими».

В восьмидесятых годах прошлого века, когда Толстой писал свои богословские сочинения, развитая им критика догматического богословия сыграла несомненно положительную роль. Сила этой критики состояла не в новизне доводов, которыми Толстой доказывал несостоятельность церковного догматического вероучения. Задолго до Толстого догматы эти были подвергнуты рационалистической критике деистами, рационалистами,

вольнодумцами, сектантами всяких мастей. Толстой только применил эти доводы, уже использованные против католичества и против протестантизма, к православию.

Оригинальной, неповторимой, самобытной критику Толстого делает зоркость, с какой Толстой разглядел связь, существующую между учениями церкви и *социальным* строем капиталистического общества. «Крестьянский» взгляд Толстого и в церкви разгадал одну из сил, разоряющих и порабащивающих крестьянство, узаконивающих и освящающих бедствия надвигавшегося на крестьянина нового и непонятного для него врага — капитализма.

Истолкование религии как учения практической этики ярко выразилось также в большой работе Толстого «Соединение, перевод и исследование четырех Евангелий», опубликованной издательством «Посредник» в 1907 (I том) и в 1908 году (II и III томы).

Идея соединения в одно повествование всего содержания четырех Евангелий не нова. Попытки такого соединения были сделаны до Толстого Арнольдом де Вансом, Рейсом, Фарраром, Гречулевым. Толстому эти работы были известны. Однако выполненное Толстым соединение четырех Евангелий существенно отличается от работ названных ученых своей задачей и руководящей точкой зрения. Предшественники Толстого подходили к своей задаче как к задаче историко-филологической. Толстого эта задача совершенно не интересует. Его соединение и перевод Евангелий не есть ни труд богослова, ни труд ученого историка, ни даже труд филолога-переводчика. Работа Толстого есть попытка очищения текста четырех Евангелий от всего, что самому Толстому представляется несовместимым с его собственным понятием о религии и, в частности, о христианской религии. Это — интерпретация канонических Евангелий в духе морального учения Толстого. Отвлеченно-рационалистический характер религиозного и морального учения Толстого сделал для него неприемлемыми все тексты Евангелий, в которых или выражены философские — онтологические, космологические — понятия евангелистов (например, мистическое учение о божественном «слове» в Евангелии Иоанна), или отражена вера в чудесные, сверхъестественные явления, или, наконец, сказались результаты позднейшей церковной переработки древних текстов Евангелий — в целях оправдания и обоснования официальной догматики церковного христианства, сложившейся к началу четвертого века нашей эры. Поэтому Толстой или просто исключает из текста своего перевода все, что ему представляется фантастическим, ложным и грубым в моральном отношении, подложным и внесенным в первоначальный текст церковными богословами, или перетолковывает соответствующие места в духе собственного учения. Это перетолкование часто выражается в полной свободе при передаче греческого текста. Часто перевод этот просто есть замена имеющегося в тексте понятия понятием, какого никак не мог иметь в виду автор текста и которое приписывается ему Толстым.

Поэтому с точки зрения строгой филологии перевод четырех Евангелий, выполненный Толстым, не следует рассматривать как перевод в буквальном смысле этого слова. Сам Толстой отнюдь не претендовал на рассмотрение своей работы в качестве ученого перевода и сам заранее признал, что в его труде могут быть обнаружены значительные — с точки зрения филологической критики — ошибки. Цель Толстого была совсем другая. Толстой хотел самый текст канонических Евангелий сделать опорой для своих религиозно-моральных воззрений. И в переводе и — еще яснее — в комментариях к переводу, сделанных самим Толстым, цель эта выступает совершенно прозрачно. В переводе и в комментариях Толстого отразились все черты религиозного мировоззрения Толстого. Основное для Толстого противоречие между разоблачением социальной функции религии в эксплуататорском обществе и признанием «очищенной», «утонченной» религии, сведенной к моральному учению непротивления и нравственного личного самосовершенствования, и здесь остается во всей силе. Так же как и другие религиозные трактаты Толстого, «Соединение, перевод и исследование четырех Евангелий» — страстная полемическая книга. Несмотря на всю неподготовленность Толстого к ученой филологической критике канонических текстов Евангелий и их признанных церковью переводов, Толстой в ряде

случаев с большой проницательностью вскрывает смысл и цели церковной интерпретации евангельских текстов. Он обнажает связь между этой интерпретацией и служением церкви государству, основанному на насилии имущего меньшинства над трудящимся большинством. В этом разоблачении — сила работы Толстого над Евангелиями. Сквозь крайнюю наивность и рассудочность толстовской экзегезы, сквозь произвол филологических выкладок Толстого до читателя доходит чувство страстного гнева великого мыслителя против лжи и лицемерия церкви, перенесшей в евангельские тексты понятия и догмы, возникшие в церковных кругах и отражающие социально-политические черты церковной идеологии. Именно эти черты делают работу Толстого по переводу и соединению Евангелий работой, интересной для современного читателя. Книга эта восполняет характеристику мировоззрения Толстого. Она — показатель удивительной страстности, упорства и трудолюбия, способности беззаветного увлечения, с каким Толстой отдавался своей критике духовного обмана, господствовавшего в современном ему обществе. Но одновременно книга эта показатель и противоречивости, слабости Толстого, порабощенности мысли Толстого тем самым расслабляющим ядом, против которого он так сильно и мужественно боролся.

Наиболее разительным доказательством того, что для Толстого религия сводится по сути к *этике*, является сделанный самим Толстым перевод некоторых текстов четвертого Евангелия — Евангелия Иоанна. Евангелие это всегда рассматривалось богословами и историками философии как *наиболее философское* из четырех канонических Евангелий, как такое, в котором сообщаются основы христианского учения о божественном бытии, о природе бога и т. д. В связи с этим «слово» («логос»), о котором идет речь в четвертом Евангелии, связывалось с философскими умозрениями Филона иудейского, с «логосом» стоиков и даже с «логосом» Гераклита. Во всех этих богословских и историко-философских толкованиях «логос» четвертого Евангелия имеет ясно выраженное *онтологическое* значение (значение характеристики божественного *бытия*), а также связанное с ним *космологическое* значение (то есть значение термина, говорящего об отношении бога и сына бога к *миру*).

Совершенно иначе понимает смысл евангельского учения о «слове» или о «логосе» Толстой. Его совершенно не интересует вопрос об онтологическом и космологическом смысле евангельского «логоса». По Толстому «логос» Иоанна — только нравственное понимание (или «разумение») жизни. Больше того, по утверждению Толстого, известные слова из первого стиха первой главы Евангелия Иоанна — *καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν* («и слово было у бога») должны быть переведены так: «И разумение стало супротив бога», или: «разумение *заменило* бога». Другими словами, Толстой не только отрицает в понятии «логоса» какой бы то ни было онтологический смысл, не только сводит смысл этого понятия к понятию о нравственном понимании («разумении») жизни. Толстой вместе с тем утверждает, что нравственное «разумение» жизни есть то, что заменило в жизни и в сознании людей понятие о самом боге. Религия Толстого по сути — религия без бога, или религия, в которой, по мысли Толстого, бог, как бог, становится только синонимом нравственного понимания жизни.

Но вместе с тем свое собственное понимание нравственного смысла жизни — свое отвлеченное и вне историческое учение о любви к людям, о непротивлении злу насилием, об отказе от выполнения законов государства и т. д. Толстой хочет вывести из основных учений, изложенных в ранней христианской литературе — из канонических Евангелий в первую очередь.

Однако в памятниках этой литературы, в том числе в Евангелиях, нравственные учения связаны с целым рядом других — мистических, мифологических, онтологических, космологических понятий и наслоений. Поэтому утверждать, как это делает Толстой, будто, кроме указанного самим Толстым нравственного смысла жизни, Евангелие в сущности не содержит никаких других философских понятий и учений, можно или игнорируя всё мифологическое и философское, но не специфически моральное содержание ранних памятников христианской литературы, или даже произвольно толкуя в этих памятниках в

узко моральном смысле то, что заключает в себе и другой смысл, не сводимый начисто к моральному.

В своем переводе и толковании Евангелий Толстой делает и то и другое. Он опускает в своем переводе ряд мест — мифов, сцен, изречений и т. д., — не связанных с нравственным евангельским учением (как его понимает сам Толстой), и перетолковывает в духе своего собственного нравственного учения те места, которые имеют в виду отнюдь не только моральное учение.

Особенно решительно опускает Толстой в содержании Евангелий все рассказы, сцены и положения, которые противоречат реалистическому пониманию явлений и событий природы и человеческой жизни.

Поэтому толстовский перевод и соединение в одно связное и цельное повествование четырех Евангелий отличается, во-первых, сильно выраженной моральной тенденцией. Толстой выделяет, подчеркивает, усиливает в своем переводе этическую направленность Евангелий.

Во-вторых, толстовский перевод Евангелий отличается резко выраженной рационалистической тенденцией: Толстой стремится — либо путем механического отсечения ряда текстов, либо путем рационалистического перетолкования — устранить, где это ему представляется возможным, противоречие между повествованием Евангелий и (общечеловеческим) рассудочным пониманием явлений.

При этом Толстому приходится вступать в споры с имеющимися в богословской литературе переводами и пониманием ряда евангельских текстов. В спорах этих и в критике богословских толкований евангельских текстов обнаруживается чрезвычайно важная черта взглядов Толстого на церковное вероучение. Слабый и мало подготовленный в вопросах филологической критики и толкования евангельских текстов, Толстой поразительно чуток и проницателен по отношению к социальной тенденции, которой постоянно руководилась и руководится церковь в своих толкованиях Евангелия.

В своих суждениях о Толстом Ленин всегда отмечал силу, убежденность и искренность толстовской критики церкви, а также проницательность анализа Толстого, уловившего в учениях церкви связь их с оправданием основ и установлений капиталистического общества. Отмечая как достоинство и силу Толстого «замечательно сильный, непосредственный и искренний протест против общественной лжи и фальши»⁴⁴, Ленин тут же отмечал, что протест этот был направлен Толстым прежде всего *против церкви*. Во взглядах Толстого на церковь Ленин ценил «самый трезвый реализм, срывание всех и всяческих масок»⁴⁵. В ряде мест Ленин подчеркивал, что для Толстого характерен «горячий, страстный, нередко беспощадно-резкий протест против государства и полицейско-казённой церкви...»⁴⁶ В этом протесте, как и в других проявлениях толстовской критики, Ленин также видит выражение настроений «примитивной крестьянской демократии, в которой века... церковного иезуитизма, обмана и мошенничества накопили горы злобы и ненависти»⁴⁷.

В этом отношении Ленин особенно выделял последние произведения Толстого. Именно в них Толстой, как показал Ленин, «обрушился с страстной критикой на все современные государственные, *церковные* (курсив мой. — В. А.), общественные, экономические порядки, основанные на порабощении масс, на нищете их, на разорении крестьян и мелких хозяев вообще, на насилии и лицемерии, которые сверху донизу пропитывают всю современную

⁴⁴ В. И. Ленин, Сочинения, т. 15, стр. 180.

⁴⁵ Там же.

⁴⁶ Там же, т. 16, стр. 294

⁴⁷ Там же.

жизнь»⁴⁸. По словам Ленина, Толстой «с великой наглядностью разоблачал внутреннюю ложь всех тех учреждений, при помощи которых держится современное общество...»⁴⁹ В числе этих учреждений, лживость и лицемерие которых изобличал Толстой, Ленин на первом месте называет *церковь*.

Толстовская критика церкви и церковного богословия стала предметом внимания широких кругов русского общества. Искренность, граничащая с отчаянием, страстность этой критики, горячее сочувствие миллионам людей, поработанных церковным обманом, негодование против обманывающих — все эти качества полемических книг Толстого, направленных против церкви, вызвали всеобщее сочувствие к Толстому. Волна этого сочувствия поднялась особенно высоко, когда православный синод опубликовал во всеобщее сведение акт об отлучении Толстого от православной церкви. Значительной частью русских людей акт этот был воспринят как действие, позорящее не Толстого, а тех церковников, которые, не имея сил защищаться от могучих укоров и обвинений писателя, вместо ответа по существу, решили «наказать» его своим отлучением. В день опубликования постановления синода Толстой стал, в сознании культурных людей всего мира, в один ряд с такими борцами и деятелями независимой мысли, каким был Спиноза, какими были французские просветители. Вспоминая впоследствии об отлучении Толстого, Ленин писал: «Святейший синод отлучил Толстого от церкви. Тем лучше. Этот подвиг зачтется ему (то есть синоду. — В. А.) в час народной расправы с чиновниками в рясах, с жандармами во Христе, с темными инквизиторами, которые поддерживали еврейские погромы и прочие подвиги черносотенной царской шайки»⁵⁰.

Но как ни искренна была толстовская критика и как ни сильно было ее действие, критика эта *таила в себе глубокое противоречие* и прямо реакционное содержание. Толстой критикует *церковную* форму веры, но для того, чтобы укрепить, очистить самый принцип веры. Он отвергает *церковное* учение о боге, но лишь для того, чтобы на это место поставить *нравственно очищенное, духовно утонченное* новое понятие о боге. Он осуждает поддержку, какую церковь оказывает капиталистическому угнетению, но не для *действительной* борьбы с капиталистическим порядком, а для проповеди *непротивления злу насилием*.

Так, Толстой отрицает развиваемые богословием «доказательства» существования бога, ссылаясь при этом на критику Канта, но не для того, чтобы отвергнуть в *принципе* всякое доказательство бытия бога, а для того, чтобы, отвергнув *богословские* доказательства как нелепые, выдвинуть, точнее чтобы сохранить, другие — *мистические*, которые кажутся ему истинными.

Упрекая богословов за нарушение основных законов логики и разума, Толстой, сам того не замечая, отрекается от логики в собственном доказательстве бытия бога и души: «Бога и душу я знаю так же, как я знаю бесконечность, не путем определения, но совершенно другим путем. Определения разрушают во мне это знание». По Толстому, к несомненности знания бога человек приводится вопросом: «откуда я?» «Я родился от своей матери, а та от бабушки, от прабабушки, а самая последняя от кого. И я неизбежно прихожу к богу. Ноги — не я, руки — не я, голова — не я, чувства — не я, даже мысли — не я: что же я? Я—я, я — моя душа».

Толстой гневно и горячо протестует против участия церкви в капиталистическом насилии. Но в то же время в той же «Критике догматического богословия» Толстой доказывает, будто христианское учение, освобожденное от церковных софизмов, истинно и

⁴⁸ Там же, т. 16, стр. 301.

⁴⁹ Там же, стр. 323.

⁵⁰ В. И. Ленин, Сочинения, т. 16, стр. 296.

будто истина его — в заповеди, запрещающей всякую борьбу с насилием при помощи насилия.

«Все учение Иисуса только в том, что простыми словами повторяет народ: спаси свою душу, но только свою, потому что она всё. Страдай, терпи зло, не суди — все только говорят одно. При всяком же прикосновении к делам мира Иисус учит нас примером полного равнодушия, если не презрения, как надо относиться к мирским делам... Всё, что не твоя душа, всё это не твое дело. Ищите царства небесного и правды его в своей душе, и всё будет хорошо».

Во всех этих чертах толстовской критики церковного учения мы узнаем не только крестьянский протест и накопившуюся столетиями ненависть к угнетающему порядку, но вместе с тем и указанную Лениным другую черту — *бессилие* патриархального крестьянства, *наивность*, *юрродство* в выборе средств для борьбы против зла. По слову Ленина, Толстой отражает настроение крестьянских масс «так верно, что сам в свое учение вносит их наивность, их отчуждение от политики, их мистицизм, желание уйти от мира, «непротивление злу», бессильные проклятья по адресу капитализма и «власти денег»⁵¹.

Отвергнув *церковную* религию, Толстой с тем большей убежденностью отстаивает «вечное» содержание «истинной» религии. И в своей критике церковной религии и в своем обосновании «очищенной» от церковного обмана и лицемерия «истинной» религии Толстой, как показал Ленин, неспособен стать на «конкретно-историческую точку зрения». «Он рассуждает, — писал по этому поводу Ленин, — отвлеченно, он допускает только точку зрения «вечных» начал нравственности, вечных истин религии...»⁵²

В критике церковной религии неспособность Толстого стать на конкретно-историческую точку зрения привела к тому, что Толстой оценивает значение церковного христианства только с точки зрения настоящего и потому не видит несомненной *относительной* прогрессивности церковного христианства в те времена далекого прошлого, когда церковное христианство оказалось хранителем и даже в известной мере насадителем просвещения среди языческих народов.

Пропаганда религии, «очищенной» от прямой и явной капиталистической апологетики, отсутствие конкретно-исторической точки зрения имело результатом то, что Толстой не заметил, как, подменяя церковную религию «очищенной» нравственной религией, он на деле, вместо грубого, открытого, но в своей откровенности менее опасного оправдания существующего порядка, предлагал по сути также примирение с этим порядком, но примирение неявное, утонченное и потому несравненно более опасное. Развивая точку зрения «вечных» истин религии, Толстой, говоря словами Ленина, не признавал «того, что эта точка зрения есть лишь идеологическое отражение старого («переворотившегося») строя, строя крепостного, строя жизни восточных народов»⁵³.

Среди многочисленных, раскрытых Лениным противоречий мышления Толстого противоречие между толстовской критикой церковной религии и толстовской проповедью «очищенной» религии — одно из самых характерных для Толстого и одно из самых значительных. «Борьба с казенной церковью,— писал Ленин об этом противоречии Толстого,— совмещалась с проповедью новой, очищенной религии, то есть нового, очищенного, утонченного яда для угнетенных масс»⁵⁴.

В оценке *толстовской* религии Ленин прилагает тот же критерий, который был указан

⁵¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 16, стр. 302.

⁵² В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 30.

⁵³ Там же.

⁵⁴ Там же, т. 16, стр. 295.

им Алексею Максимовичу Горькому при оценке так называемого богоискательства и богостроительства — течений, распространившихся не только в кругах буржуазной интеллигенции после поражения первой русской революции, но частично проникших даже в среду российской социал-демократии.

Ленин разъяснил Горькому, что чем демократичнее массы, к которым обращаются с проповедью очищенной, сведенной к морали религии, тем вреднее и опаснее действие подобной проповеди.

И дело здесь, как показал Ленин, не в личных нравственных чертах или качествах тех, кто субъективно нуждается в «очищенной» религии и эту религию проповедует. Религию Толстого, так же как и религию богоискателей и богостроителей, Ленин рассматривает и оценивает не как факт личного психологического и морального развития Толстого и богоискателей.

Именно с этой — не с личной, а с общественной — точки зрения Ленин бичевал не самого Толстого, как личность, а «толстовство» — как выражение общественной слабости, расхлябанности и бессилия известной части русской интеллигенции. В «толстовстве» Толстого и шедших за ним интеллигентов Ленин видел одно из обнаружений столь характерного для Толстого противоречия его личности и деятельности, отражавшего противоречивый характер всего пореформенного развития России.

В. Ф. Асмус.

РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ К ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕМУ ТОМУ

Тексты, публикуемые в настоящем томе, печатаются по общепринятой орфографии, но с воспроизведением некоторых особенностей правописания Толстого.

При воспроизведении текстов, не печатавшихся при жизни Толстого, соблюдаются следующие правила. Слова, не написанные явно по рассеянности, печатаются в прямых скобках.

Условные сокращения типа «к-ый», вместо «который», и слова, написанные неполностью, воспроизводятся полностью, причем дополняемые буквы ставятся в прямых скобках лишь в тех случаях, когда редактор сомневается в чтении.

Слитное написание слов, объясняемое лишь тем, что слова, в процессе беглого письма, для экономии времени и сил писались без отрыва пера от бумаги, не воспроизводится.

Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены одной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается, является ли данное написание опиской.

Слова, написанные явно по рассеянности дважды, воспроизводятся один раз, но это оговаривается в сноске.

После слов, в чтении которых редактор сомневается, ставится знак вопроса в прямых скобках: [?]

На месте неразобранных слов ставится: [*1 неразобр.*] или [*2 неразобр.*] и т. д., где цифры обозначают количество неразобранных слов.

Из зачеркнутого в рукописи воспроизводится (в сноске) лишь то, что признает редактор важным в том или другом отношении.

Не зачеркнутое явно по рассеянности (или зачеркнутое сухим пером) рассматривается как зачеркнутое и не оговаривается.

Более или менее значительные по размерам места (абзац или несколько абзацев, глава или главы), перечеркнутые одной чертой или двумя чертами крест-накрест и т. п., воспроизводятся не в сноске, а в самом тексте и ставятся в ломаных < > скобках; но в отдельных случаях допускается воспроизведение в ломаных скобках в тексте, а не в сноске и одного или нескольких зачеркнутых слов.

Написанное Толстым в скобках воспроизводится в круглых скобках. Подчеркнутое

печатается курсивом, дважды подчеркнутое — курсивом с оговоркой в сноске.

В отношении пунктуации: 1) воспроизводятся все точки, знаки восклицательные и вопросительные, тире, двоеточия и многоточия (кроме случаев явно ошибочного употребления); 2) из запятых воспроизводятся лишь поставленные согласно с общепринятой пунктуацией; 3) ставятся все знаки в тех местах, где они отсутствуют с точки зрения общепринятой пунктуации.

Воспроизводятся все абзацы. Отсутствующие абзацы вводятся без оговорок редактора.

Примечания и переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие Толстому, печатаются в сносках (петитом) без скобок.

Переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие редактору, печатаются в прямых скобках.

Пометы: *, ** в оглавлении томов, на шмуцтитулах и в тексте при номерах вариантов означают: * — что печатается впервые, ** — что напечатано после смерти Толстого.

Иллюстрации

Л. Н. Толстой. Фотография Дьяковченко. Между XXXVI и 1 стр.